



МИЛОРАД
ПАВИЧ

*Хазарский
словарь*

АЗБУКА-КЛАССИКА

Милорад Павич
Хазарский словарь.
Роман-лексикон в 100 000
слов. Мужская версия
Серия «Азбука-классика»

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=127697

*Хазарский словарь. Роман-лексикон в 100 000 слов. Мужская версия:
Издательство «Азбука»; Книжный клуб «Терра»; Санкт-Петербург;
2016*

ISBN 978-5-389-12058-7

Аннотация

Один из крупнейших прозаиков XX в. сербский писатель Милорад Павич (1929–2009) – автор романов, многочисленных сборников рассказов, а также литературоведческих работ. Всемирную известность Павичу принес «роман-лексикон» «Хазарский словарь» – одно из самых необычных произведений мировой литературы нашего времени. Эта книга выходит за пределы традиционного линейного повествования, приближаясь к электронному гипертексту. Недаром критики писали о Павиче как о «рассказчике, равном Гомеру», а саму книгу называли

компьютерной «Одиссеей». Издательство предлагает читателям мужскую версию романа.

Содержание

| | |
|--|-----|
| Предварительные замечания ко второму, реконструированному и дополненному изданию | 8 |
| 1. История создания «Хазарского словаря» | 9 |
| 2. Состав словаря | 18 |
| 3. Как пользоваться словарем | 23 |
| 4. Сохранившиеся фрагменты из предисловия к уничтоженному изданию 1691 года (перевод с латинского) | 27 |
| Словари. <i>Lexicon cosri. Continens. Colloquium seu disputationem de religione</i> | 30 |
| Красная книга. Христианские источники о хазарском вопросе | 30 |
| Быстрое и медленное зеркало | 34 |
| Повесть о Петкутине и Калине | 45 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 112 |

Милорад Павич
Хазарский словарь.
Роман-лексикон в 100 000
слов. Мужская версия

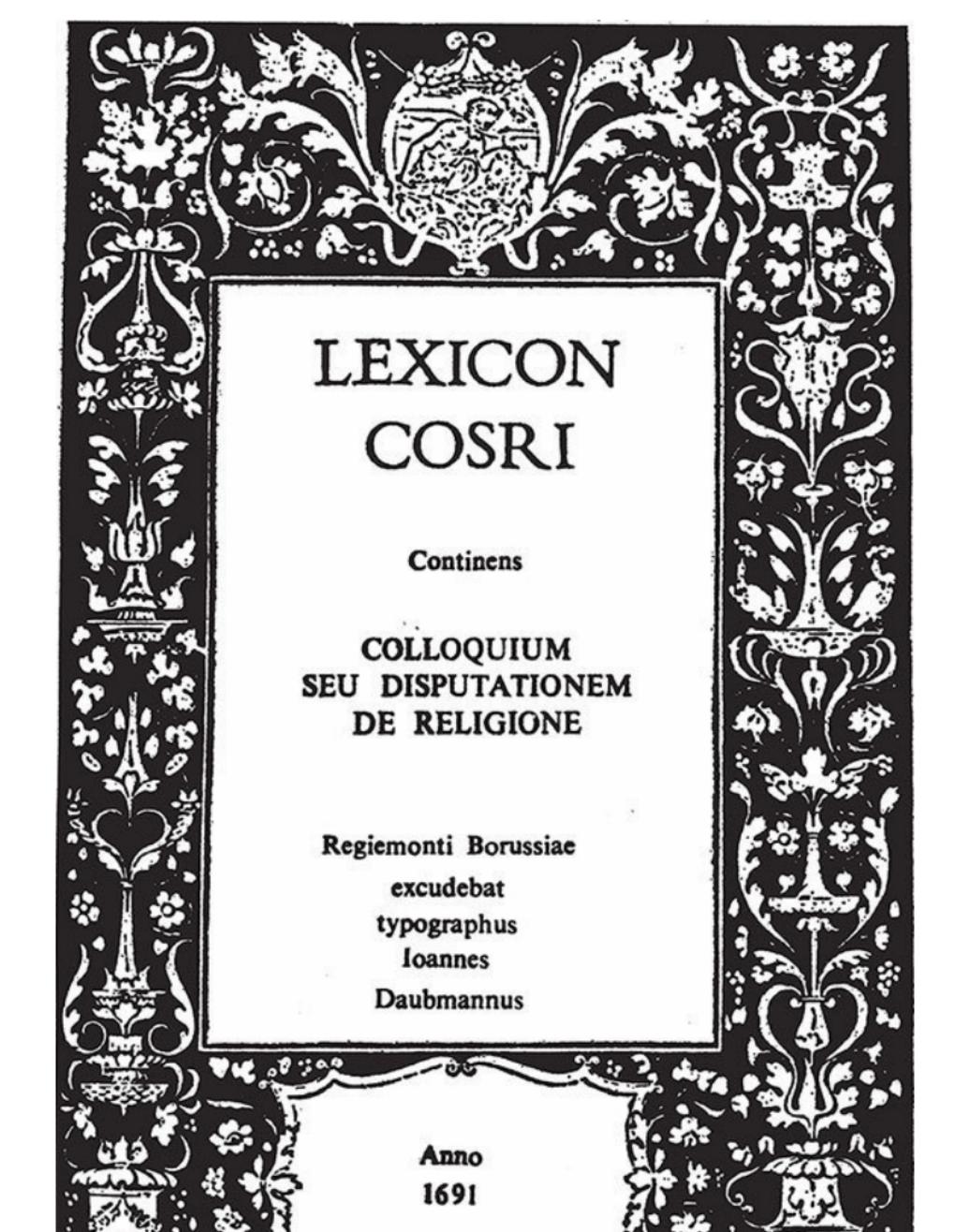
Milorad Pavić

DICTIONARY OF THE KHAZARS

© Л. Савельева, перевод, 1996

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016 Издательство АЗБУКА®

*** * ***



LEXICON
COSRI

Continens

COLLOQUIUM
SEU DISPUTATIONEM
DE RELIGIONE

Regiemonti Borussiae
excudebat
typographus
Ioannes
Daubmannus

Anno
1691

Обложка первого (уничтоженного) издания «Хазарского словаря» Даубманнуса, 1691 год (реконструкция)

НА ЭТОМ МЕСТЕ ЛЕЖИТ ЧИТАТЕЛЬ,
КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ ОТКРОЕТ ЭТУ КНИГУ.
ЗДЕСЬ ОН СПИТ ВЕЧНЫМ СНОМ.

LEXICON COSRI

(Словарь словарей о хазарском вопросе)

Реконструкция первоначального издания Даубманнуса от 1691 года (уничтоженного в 1692 году) с дополнениями до новейшего времени

Предварительные замечания ко второму, реконструированному и дополненному изданию

Современный автор этой книги заверяет читателя, что тот не обязательно умрет, если прочитает ее, как это произошло с его предшественником, пользовавшимся изданием «Хазарского словаря» от 1691 года, когда эта книга была впервые составлена. В связи с тем изданием необходимы некоторые пояснения, однако, чтобы они не были слишком утомительными, лексикограф предлагает читателям заключить договор: он сядет писать эти пояснения перед ужином, а читатель возьмется читать их после обеда. Таким образом, голод заставит автора быть кратким, а сытому читателю введение не покажется слишком длинным.

1. История создания «Хазарского словаря»

Событие, описанное в этом словаре, произошло, видимо, в VIII или в IX веке нашей эры (возможно, было несколько подобных событий), и в специальной литературе оно обычно называется «хазарской полемикой». Хазары, независимое и сильное племя, воинственные кочевники, в момент, не известный истории, появились с Востока, гонимые жаркой тишиной, и в период с VII по X век населяли сушу между двумя морями – Каспийским и Черным¹. Известно, что ветры, пригнавшие их, были ветрами-самцами, – они никогда не приносят дождей, и из них растет трава, которую они влекут по небу как бороды. Один поздний источник славянской мифологии упоминает Козие море, – возможно, это название какого-то моря, которое называлось Хазарским, так как славяне хазар называли козарами. Известно также, что хазары основали сильное царство между двумя морями и исповедовали неизвестную в настоящее время религию. Хазарские женщины в случае гибели на войне своих мужей получали по одной подушке для того, чтобы хранить в ней слезы, проли-

¹ Библиография литературы о хазарах опубликована в Нью-Йорке (The Khazars, a bibliography); две монографии об истории хазар принадлежат одному русскому автору, М. И. Артамонову (Ленинград, 1936 и 1962), а история еврейских хазар напечатана в Принстоне в 1954 году автором D. M. Dunlop.

ваемые по погибшему ратнику. Хазары заявили о себе в истории, начав воевать с арабами и заключив в 627 году союз с византийским императором Ираклием, однако их происхождение остается загадкой, исчезли и все следы, которые привели бы нас к тому под каким именем и среди какого народа искать хазар сегодня. После них осталось одно кладбище на берегу Дуная, о котором точно не известно, хазарское ли оно, и еще груда ключей, у которых вместо головок припаяны золотые или серебряные монеты с изображением трехрового знака; как считает Даубманнус[☆], такие монеты отливали хазары. С исторической сцены хазары исчезли вместе со своим государством после того, как разыгрались события, о которых здесь главным образом и пойдет речь, а именно после того, как они из своей первоначальной и ныне неведомой нам веры обратились в одну из известных и тогда и теперь религий – иудейскую, исламскую или христианскую. Считается, что вскоре за обращением последовал распад хазарского царства. Один из русских полководцев X века, князь Святослав, не сходя с коня съел хазарское царство, словно яблоко. Главный город хазар в устье Волги русские разрушили в 943 году за восемь ночей, а с 965 до 970 года уничтожили и хазарское государство. Очевидцы отмечали, что тени домов хазарской столицы еще долго не исчезали, хотя сами дома давно были разрушены. Они стояли, сопротивляясь ветру и водам Волги. Одна из русских хроник XII века свидетельствует о том, что Олег в 1083 году назывался архон-

том Хазарии, но в это время, то есть в XII веке, территорию бывшего государства хазар уже занимал другой народ – кумы. Материальные следы хазарской культуры весьма скудны. Никакие тексты, общественного или личного характера, не обнаружены, нет никаких следов хазарских книг, о которых упоминает Халеви[☆], ничего не известно об их языке, хотя Кирилл[#] отмечает, что они исповедовали свою веру на хазарском. Единственное общественное здание, обнаруженное при раскопках в Суваре, на некогда принадлежавшей хазарам территории, судя по всему, не хазарское, а болгарское. Ничего особенного не найдено и во время раскопок на месте города Саркела, нет даже следов стоявшей там когда-то крепости, которую, как нам известно, построили для хазар византийцы. После уничтожения их государства хазары почти не упоминаются. В X веке вождь одного из венгерских племен предложил им поселиться на своих землях. В 1117 году какие-то хазары появлялись в Киеве у Владимира Мономаха. В Пресбурге в 1309 году католикам было запрещено вступать в брак с хазарами, и Папа подтвердил этот запрет в 1346 году. Это почти все.

Упомянутый акт обращения в новую веру, который оказался для хазар роковым, произошел следующим образом. Хазарский правитель – каган[∇], как отмечают древние хроники, увидел однажды сон, для толкования которого он потребовал пригласить трех философов из разных стран. Дело для хазарского государства было тем более важным, что

каган решил вместе со своим народом перейти в веру того из мудрецов, чье толкование сна будет самым убедительным. Некоторые источники утверждают, что в тот день, когда каган принял это решение, у него умерли на голове волосы и он понял, что это значит, однако пойти на попятный уже не мог. Так в летней резиденции кагана встретились исламский, еврейский и христианский миссионеры – дервиш, раввин и монах. Каждый получил в подарок от кагана нож, сделанный из соли, и началась дискуссия. Точки зрения трех мудрецов, их споры, основанные на догматах трех различных вер, их личности и исход хазарской полемики вызвали большой интерес, многочисленные и противоречивые суждения об этом событии и его последствиях, о победителях и побежденных в полемике. На протяжении веков всему этому были посвящены бесчисленные споры в еврейском, христианском и исламском мире, они продолжают и по сию пору, хотя хазар уже давно нет. В XVII веке интерес к хазарам неожиданно вспыхнул с новой силой, и необъятный материал о них, накопившийся к этому моменту, был систематизирован и опубликован в 1691 году в Пруссии. Были изучены экземпляры монет с трехрогим знаком, имена, выгравированные на старинном перстне, рисунок на стенке глиняного кувшина с солью, дипломатическая переписка, портреты писателей, с которых были прочитаны все названия книг, видневшихся на заднем плане, сообщения доносчиков, завещания, голоса попугаев с берегов Черного моря, о которых считалось, что они гово-

рят на исчезнувшем хазарском языке, произведения живописи, изображавшие сцены музицирования (с них были расшифрованы все музыкальные записи, нарисованные на нотных листах) и даже одна татуированная человеческая кожа, не говоря уже об архивных материалах византийского, еврейского и арабского происхождения. Одним словом, было использовано все, что могла приручить и поставить себе на службу фантазия человека XVII века. И все это оказалось заключенным в переплет словаря. Объяснение такого интереса, пробудившегося в XVII веке, то есть через тысячу лет после самих событий, оставил один хронист в непонятном отрывке, который звучит так: «Каждый из нас выводит гулять свою мысль впереди себя, как обезьяну на поводке. Когда читаешь, имеешь дело с двумя такими обезьянами: одной своей и одной чужой. Или, что еще хуже, с одной обезьяной и одной гиеной. Вот и смотри, чем кого накормить. Ведь вкусы у них разные...»

Как бы то ни было, издатель одного польского словаря, Joannes Daubmannus☆ (или какой-то его наследник под тем же именем) в вышеупомянутом 1691 году опубликовал собрание сведений о хазарском вопросе, придав ему единственно возможную форму, способную вместить все пестрое наследие, которое те, кто носит перо за ухом и мажет рот чернилами, накапливали и теряли на протяжении веков. Оно было напечатано в виде словаря о хазарах под заголовком «Lexicon Cosri». В соответствии с одной (христианской)

версией, текст издателю продиктовал некий монах по имени Феоктист Никольски^А, который задолго до этого нашел на поле сражения между австрийскими и турецкими войсками и выучил наизусть материалы различного происхождения, относящиеся к хазарам. Таким образом, издание Даубманнуса представляло собой сборник из трех словарей: отдельного глоссара исламских источников о хазарском вопросе, алфавитного перечня сведений, почерпнутых из еврейских записей и преданий, и третьего словаря, составленного на основе христианских познаний в хазарском вопросе. Это издание Даубманнуса – словарь словарей о хазарском царстве – имело удивительную судьбу.

Наряду с пятьюстами экземплярами этого первого словаря о хазарах Даубманнус напечатал еще один экземпляр, но для него была использована отравленная типографская краска. К отравленному экземпляру, переплет которого закрывался на позолоченную застёжку, прилагался и один контрольный экземпляр того же самого словаря, с серебряной застёжкой. В 1692 году инквизиция уничтожила весь тираж издания Даубманнуса, однако в обращении остался отравленный, а также прилагавшийся к нему вспомогательный экземпляр с серебряной застёжкой, которые каким-то образом избежали глаз цензуры. Таким образом, непокорные и неверные, решавшиеся читать запрещенный словарь, были осуждены на смерть. Кто бы ни открыл книгу, вскоре оставался недвижим, наколотый на собственное сердце, как на булаву-

ку. Точнее, читатель умирал на девятой странице, на словах, которые звучат так: «*Verbum caro factum est*» («Слово стало мясом»). Контрольный экземпляр позволял, если он читался параллельно с отравленным, установить момент наступления смерти. В контрольном экземпляре было одно примечание: «Если, проснувшись, вы обнаружили, что у вас ничего не болит, знайте, что вас уже нет среди живых».

Из тяжбы о наследстве семейства Дорфмер, жившего в Пруссии в XVIII веке, видно, что «золотым» (отравленным) экземпляром словаря из поколения в поколение владели именно они: старший сын получал половину книги, а его братья и сестры по четверти – или меньше, если детей было много. Каждому куску книги соответствовали и остальные части наследства Дорфмеров: фруктовые сады, луга, поля, дома, и воды, и скот, и очень долго смерти людей никак не связывали с чтением этой книги. Когда однажды разразилась засуха и мор среди скота, кто-то сказал им, что каждая книга, так же как и каждая девушка, может превратиться в ведьму и тогда ее дух выходит на свободу и губит и морит всех, находящихся рядом. Поэтому нужно положить под застежку книги маленький деревянный крест, такой, как кладут на рот девушек, превратившихся в ведьм, чтобы злой дух не освободился и не навредил домашним. Когда так сделали с «Хазарским словарем» – под застежку как на рот книги положили крест, – несчастья и беды посыпались со всех сторон, а домашние начали умирать во сне от удушья. Тогда

обратились к священнику, рассказали, как обстоит дело, он пришел в дом, вынул из книги крест, и мор в тот же день прекратился. Еще он сказал им: «Смотрите не кладите больше крест под застежку, потому что дух книги сейчас находится вне ее. Он не может вернуться в книгу, потому что боится креста, от этого и творит вокруг зло». Таким образом, позолоченная застежка была закрыта на ключ и «Хазарский словарь» десятилетиями оставался нетронутым на полке. По ночам с полки слышался странный шум, который исходил из словаря Даубманнуса, причем в дневниковых записях того времени, сделанных во Львове, говорится, что в лексикон Даубманнуса были вставлены песочные часы, которые изобрел некий Нехама, знаток «Зохара», умевший говорить и писать одновременно. Этот Нехама, кроме того, утверждал, что узнал в собственной руке согласную «хе» родного еврейского языка, а в букве «вав» – свою мужскую душу. Песочные часы, которые он вставил в переплет книги, были невидимы, но во время чтения в полной тишине можно было услышать, как пересыпается песок. Когда песок переставал шуршать, нужно было перевернуть книгу и продолжать чтение в обратном порядке, с того места, где остановился, к началу, вот тут-то и открывался тайный смысл книги. Другие записи, однако, говорят о том, что раввины не одобряли того внимания, которое их соплеменник уделил «Хазарскому словарю», поэтому книга время от времени подвергалась нападкам ученых людей из еврейской среды. При этом, прав-

да, у раввинов не было замечаний относительно правоверности еврейских источников словаря, однако они не могли согласиться с аргументами остальных источников. И наконец, нужно сказать и о несчастливой судьбе «Lexicon Cosri» в Испании, где у мавров в исламской среде «серебряный экземпляр» был запрещен для чтения в течение восьмисот лет, причем этот срок еще не истек и запрет остается в силе. Объяснение этому можно найти в том факте, что в Испании того времени еще были семьи, чье происхождение восходило к хазарскому царству. Записки говорят, что у этих «последних хазар» была странная привычка. Если они с кем-то вступали в конфликт, то старались любыми способами очернить и проклясть этого человека в то время, когда он спит, стараясь при этом не разбудить его бранью. Видимо, считалось, что тогда проклятие подействует сильнее и наказание последует быстрее, чем в том случае, когда враг бодрствует. Так хазарские женщины, говорит Даубманнус, проклинали еще Александра Македонского, что совпадает со свидетельством Псевдокалистена, согласно которому хазары в свое время были покорены великим завоевателем.

2. Состав словаря

Как выглядел «Хазарский словарь», изданный Даубманнусом в 1691 году, сегодня доподлинно установить невозможно, потому что два оставшихся в обращении экземпляра, отравленный и серебряный (вспомогательный), были уничтожены, каждый в своей стране. Как говорит один источник, «золотой экземпляр» погиб совершенно недостойным образом. Последним его владельцем был один старик из семейства Дорфмер, известный тем, что умел определить хорошую саблю по звуку, как колокол. Он никогда не читал книг и говорил: «Свет откладывает в мои глаза яйца, как мухи слюну в рану. Известно, что может вылупиться из таких яиц...» Старику была вредна жирная пища, и он потихоньку от своих домашних каждый день, одну за другой, опускал страницы «Хазарского словаря» в тарелку с супом, чтобы собрать с поверхности жир, а потом выбрасывал замасленную бумагу. Таким образом, еще до того, как кто-нибудь заметил, он извел весь «Lexicon Cosri». В тех же записках говорится, что книга была украшена иллюстрациями, которыми старик не пользовался, потому что они портили вкус супа. Эти иллюстрированные страницы – единственное, что осталось от словаря, и, возможно, их и сегодня еще удалось бы разыскать, если среди следов вообще можно распознать самый первый, за которым последовали другие, образовав-

шие тропинку. Считается, что у одного профессора, специалиста по ориенталистике и археологии средних веков, доктора Исайло Сукаџ, был то ли экземпляр, то ли рукописная копия «Хазарского словаря», однако после смерти ученого в его архиве ничего похожего не оказалось. Так что из издания Даубманнуса до нас дошли только фрагменты, подобно тому как от сна в глазах остается лишь песок.

На основе фрагментов, которые приводятся в трудах, полемизирующих с автором, или авторами, «Хазарского словаря», достоверно установлено (как уже говорилось), что издание Даубманнуса представляло собой своего рода хазарскую энциклопедию, сборник биографий или житий тех людей, которые, как птица через комнату, пролетали по небу хазарского царства. Это также *Vitae sanctorum* и других лиц, участвовавших в хазарской полемике, в ее фиксировании на бумаге и в ее изучении на протяжении веков. Все эти материалы представляли собой основу книги и были разделены на три части.

Такой состав словаря Даубманнуса, объединявший еврейские, исламские и христианские источники об обращении хазар, остался основой и второго издания. Лексикограф решился на него, несмотря на непреодолимые трудности, вытекавшие из бедности имевшегося материала, только после того, как прочитал следующую фразу «Хазарского словаря»: «Сон – это сад дьявола, и все сны уже давно известны истории человечества. Сейчас они лишь чередуются со столь же

широко использованной и потрепанной явью, точно так же как передают из рук в руки металлические монеты, получая письма до востребования...» В таком мире или, говоря точнее, в такой фазе этого мира и правда можно было взяться за подобное предприятие.

При этом следует иметь в виду следующее. Издатель второго издания «Хазарского словаря» полностью отдает себе отчет, что данные Даубманнуса, то есть материалы XVII века, недостоверны, они в максимально возможной мере построены на легендах, представляют собой нечто вроде обеда во сне и опутаны сетями заблуждений различной давности. Тем не менее все они передаются на суд читателю, потому что в задачи словаря не входит показать хазар такими, какими они видятся нам сегодня, это просто попытка восстановить утраченное издание Даубманнуса. Так что современные знания о хазарах использованы лишь в качестве неизбежных и необходимых дополнений к фрагментам утраченного источника.

Необходимо также напомнить, что по понятным причинам здесь не мог быть сохранен порядок расположения и алфавит словаря Даубманнуса, в котором использованы три письма и три языка – греческий, еврейский и арабский – и где даты даны по трем хронологиям, лежащим в основе календарей, которыми пользовались эти народы. Здесь все даты переведены в систему одного календаря и сделан перевод материала словарных статей издания Даубманнуса с трех

языков на один-единственный, поэтому следует отдавать себе отчет, что в оригинале XVII века все словарные статьи были распределены иначе и что в разных языках в каждом из трех словарей (еврейском, арабском и греческом) одно и то же имя возникало в разных местах в силу того, что в разных азбуках буквы располагаются в разной последовательности, книги листаются в разных направлениях, а главные действующие лица в театре появляются с разных сторон сцены. Впрочем, при переводе на любой другой язык эта книга опять же выглядела бы по-другому потому что каждый новый язык и каждое новое письмо влекут за собой новое расположение материала словаря о хазарах и словарные статьи приходилось бы менять местами, а имена всегда выступали бы в новой иерархии. Таким образом, столь важные словарные статьи издания Даубманнуса, как: святой Кирилл†, Иуда Халеви☆ или Юсуф Масуди♣ и другие – расположены в совершенно иной последовательности, чем в первом издании «Хазарского словаря». Это, безусловно, можно считать главным недостатком данной версии по сравнению с оригинальной, ибо только тот, кто сумеет в правильном порядке прочесть все части книги, сможет заново воссоздать мир. Однако в данном случае пришлось поступить именно так; постольку, поскольку восстановить алфавитный порядок Даубманнуса было невозможно.

Тем не менее не следует воспринимать все это как большой недостаток: читатель, который умел вычитать скрытый

смысл книги из порядка расположения словарных статей, давно уже исчез с лица земли, а нынешняя читательская публика полагает, что вопрос фантазии относится исключительно к компетенции писателя, а ее это не касается вовсе. Особенно если речь идет о словаре. Такому читателю не нужны песочные часы в книге, которые обращают его внимание на то, что пора переменить способ чтения, ведь современный читатель способ чтения не меняет никогда.

3. Как пользоваться словарем

Несмотря на все перипетии, эта книга сохранила некоторые достоинства первоначального издания – издания Даубманнуса. Так же как и то издание, она может быть прочитана разными способами. Это открытая книга, а когда ее закроешь, можно продолжать писать ее; так же как она имеет своих лексикографов в прошлом и настоящем, то и в будущем могут появиться те, кто будет ее переписывать, продолжать и дополнять. В ней есть словарные статьи, конкордансы и комментарии, как в священных книгах или кроссвордах, и все имена и понятия, которые в ней отмечены знаком креста, полумесяца или звезды Давида, нужно искать в соответствующем разделе словаря, если кому-то захочется найти более подробное объяснение. То есть слова под знаком:

– следует искать в «Красной книге» словаря (христианские источники о хазарском вопросе),

– нужно искать в «Зеленой книге» словаря (исламские источники о хазарском вопросе),

– нужно искать в «Желтой книге» словаря (древнееврейские источники о хазарском вопросе).

Статьи, помеченные знаком

∇ – можно найти во всех трех книгах, а те, что со знаком

A – находятся в Appendix I в конце книги.

Иначе говоря, читатель может пользоваться книгой так, как ему покажется удобным. Одни, как в любом словаре, будут искать имя или слово, которое интересует их в данный момент, другие могут считать этот словарь книгой, которую следует прочесть целиком, от начала до конца в один присест, чтобы получить более полное представление о хазарском вопросе и связанных с ним людях, вещах, событиях. Книгу можно листать слева направо и справа налево, так в основном и листали словарь, опубликованный в Пруссии (еврейские и арабские источники). Три книги этого словаря – Желтую, Красную и Зеленую – можно читать в том порядке, какой придет на ум читателю, например начав с той страницы, на которой словарь откроется. Именно поэтому в издании XVII века каждая книга была переплетена отдельно, что в данном случае сделать невозможно по техническим причинам. «Хазарский словарь» можно читать и по диагонали, чтобы получить срез каждого из трех источников – исламского, христианского и древнееврейского. При таком способе пользования словарем наиболее целесообразно группировать статьи по тройкам: или смотреть те, что даны со знаком V, то есть представлены во всех трех словарях, как, например, в случае со словами «Атех», «каган», «хазарская полемика» или «хазары», или выбрать три разные личности, связанные одной ролью в истории хазарского вопроса. Таким образом, во время чтения можно связать в одно целое статьи из трех разных книг этого словаря, которые говорят

об участниках хазарской полемики (Сангари, Кирилл, Ибн Кора), о ее хронистах (Бекри, Мефодий, Халеви) или об исследователях хазарского вопроса в XVII веке (Коэн, Масуди, Бранкович) и в XX веке (Сук, Муавия, Шульц). Разумеется, не следует обходить вниманием и персонажи, пришедшие из трех преисподен – исламской, еврейской и христианской (Ефросиния Лукаревич, Севаст, Акшани). Они проделали самый длинный путь, чтобы добраться до этой книги.

Однако обладателя словаря не должны смущать эти инструкции. Он может со спокойной душой пренебречь всеми советами и читать так, как ест: пользоваться правым глазом вместо вилки, левым вместо ножа, а кости бросать за спину. Этого достаточно. Правда, может случиться, что читатель заблудится и потеряется среди слов этой книги, как это произошло с Масуди, одним из авторов словаря, который заплутал в чужих снах и уже не нашел дороги назад. В таком случае читателю не остается ничего другого, как пуститься с середины страницы в любую сторону, прокладывая свою собственную тропинку. Тогда он будет продвигаться сквозь книгу, как сквозь лес, – от знака до знака, ориентируясь по звездам, месяцу и крестам. В другой раз он будет читать ее, как птица трясогузка, которая летает только по четвергам, или же перетасовывать и перекладывать ее страницы бесчисленными способами, как кубик Рубика. Никакая хронология здесь и не должна соблюдаться, она не нужна. Каждый читатель сам сложит свою книгу в одно целое, как в игре в до-

мино или карты, и получит от этого словаря, как от зеркала, столько, сколько в него вложит, потому что от истины — как пишется на одной из следующих страниц — нельзя получить больше, чем вы в нее вложили. Кроме того, книгу эту вовсе не обязательно читать целиком, можно прочесть лишь половину или какую-нибудь часть и на этом остановиться, что, кстати, всегда и бывает со словарями. Чем больше ищешь, тем больше получаешь; так и здесь счастливому исследователю достанутся все связи между именами этого словаря. Остальное для остальных.

4. Сохранившиеся фрагменты из предисловия к уничтоженному изданию 1691 года (перевод с латинского)

1. Писатель не советует читателю браться за эту книгу без большой необходимости. А если уж он захочет поинтересоваться ее содержанием, то делать это нужно в такой день, когда чувствуешь, что ум и осторожность способны проникнуть глубже, чем обычно. Читать ее следует так, как треплет человека горячка или жар лихоманки, болезни, которая приходит приступами, через день, и трясет больного только по женским дням недели...

2. Представьте себе двух людей, которые держат пуму, набросив на нее с двух сторон лассо. Если они захотят приблизиться друг к другу, пума бросится на одного из них, так как лассо ослабнет. Они в равной безопасности только тогда, когда тянут каждый в свою сторону. Поэтому с таким трудом могут приблизиться один к другому тот, кто пишет, и тот, кто читает, между ними общая мысль, захлестнутая петлей, которую двое тянут в противоположные стороны. Если мы спросим пуму, то есть мысль, каково ее мнение об этих двоих, она ответит, что концы лассо держат те, которые считают пищей кого-то, кого не могут съесть...

8. Опасайся, собрат мой, войти в большое доверие или слишком откровенно подольщаться к тем, чья власть в перстне, а сила в свисте сабли. Такие всегда окружены людьми, толпящимися вокруг них не из любви и не по убеждениям, а лишь потому, что нет другого выхода. Выхода же нет потому, что у них то ли пчела спрятана под шапкой, то ли масло под мышкой, — одним словом, что-то есть за ними такое, за что теперь приходится расплачиваться, а их свобода посажена на цепь, поэтому сами они готовы на все. И те, что наверху, те, что всеми правят, хорошо это знают и используют в своих целях. Так что смотри, как бы тебе не оказаться без вины виноватым и не попасть в такую компанию. А это может случиться, если начнешь их слишком расхваливать или льстить им, выделяясь из окружающей толпы: они отнесут тебя к таким же злодеям и преступникам и будут считать, что честь твоя запятнана и что все, что ты делаешь, делаешь не по любви и вере, а по необходимости, для того чтобы расквитаться за свое беззаконие. Таких людей по праву никто не ценит, их пинают ногами, как бездомных псов, или вынуждают делать нечто похожее на уже сделанное ими...

9. Что же касается вас, писателей, никогда не забывайте о том, что читатель похож на циркового коня: он знает, что после каждого успешно выполненного номера его в награду ждет кусочек сахара. И если не будет сахара, не будет и номера. Что же касается критиков и тех, кто будет оценивать книгу, то они, как обманутые мужья, — узнают новость по-

следними...

Словари. Lexicon cosri. Continens. Colloquium seu disputationem de religione

Красная книга. Христианские источники о хазарском вопросе

АТЕХ[∇] – хазарская принцесса, ее участие в полемике о крещении хазар было решающим. Ее имя истолковывается как название четырех состояний духа у хазар[∇]. По ночам на каждом веке она носила по букве, написанной так же, как пишут буквы на веках коней перед состязанием. Это были буквы запрещенной хазарской азбуки, письма которой убивали всякого, кто их прочтет. Буквы писали слепцы, а по утрам, перед умыванием принцессы, служанки прислуживали ей зажмурившись. Так она была защищена от врагов во время сна, когда человек, по повериям хазар, наиболее уязвим. Атех была прекрасна и набожна, и буквы были ей к лицу, а на столе ее всегда стояла соль семи сортов, и она, прежде чем взять кусок рыбы, обмакивала пальцы каждый раз в другую соль. Так она молилась. Говорят, что так же, как и солей, было у нее семь лиц. Согласно одному из преданий,

каждое утро она брала зеркало и садилась рисовать, и всегда новый раб или рабыня позировали ей. Кроме того, каждое утро она превращала свое лицо в новое, ранее невиданное. Некоторые считают, что Атех вообще не была красивой, однако она научилась перед зеркалом придавать своему лицу такое выражение и так владеть его чертами, что создавалось впечатление красоты. Эта искусственная красота требовала от нее стольких сил и напряжения, что, как только принцесса оставалась одна и расслаблялась, красота ее рассыпалась так же, как ее соль. Во всяком случае, ромейский (византийский) император назвал в IX веке «хазарским лицом» известного философа и патриарха Фотия, что могло указывать либо на родство патриарха с хазарами, либо на лицемерие.

По Даубманнусу✠ же, ни та ни другая версия не верны. Под хазарским лицом подразумевалась способность и особенность всех хазар, и принцессы Атех в том числе, каждый день пробуждаться как бы кем-то другим, с совершенно новым и неизвестным лицом, так что даже ближайшие родственники с трудом распознавали друг друга. Путешественники отмечали, однако, что лица хазар совершенно одинаковы, что они никогда не меняются и это приводит к разным осложнениям и недоразумениям. Как бы то ни было, на суть дела это не влияет, и хазарское лицо означает лицо, которое трудно запомнить. Этим можно объяснить не только легенду, по которой для каждого из участников хазарской полемики✡ при дворе кагана у принцессы Атех были разные лица,

но и сведения о том, что существовали три принцессы Атех – одна для исламского, вторая для христианского, а третья для еврейского миссионера и толкователя снов. Остается, однако, фактом, что ее присутствие при хазарском дворе не отмечено в христианском источнике того времени, написанном на греческом и переведенном на славянский язык («Житие Константина Солунского» – святого Кирилла[†]), при этом, правда, из «Хазарского словаря» известно, что одно время среди греческих и славянских монахов существовало нечто похожее на культ принцессы Атех. Культ этот возник в связи с убеждением, что Атех победила в полемике еврейского теолога и приняла христианство вместе с каганом, о котором опять-таки нельзя сказать, был он ей отцом, супругом или братом. Сохранились (в переводе на греческий) две молитвы принцессы Атех, которые никогда не были канонизированы, однако Даубманнус приводит их как «Отче наш» и «Радуйся, Мария!» хазарской принцессы. Первая из этих молитв звучит так:

«На нашем судне, отец мой, команда копошится, как муравьи, я вымыла его сегодня утром своими волосами, и они ползают по чистым мачтам и тащат в свой муравейник зеленые паруса, как будто это сладкие листья винограда; рулевой пытается выдрать корму и взвалить ее себе на плечи, как добычу, которой будет питаться целую неделю; те, что слабее всех, тянут соленые веревки и исчезают с ними в утробе нашего плавучего дома. Только у тебя, отец мой,

нет права на такой голод. В этом пожирании скорости, тебе, мое сердце, единственный отец мой, принадлежит самая быстрая часть. Ты питаешься разодранным на куски ветром».

Вторая молитва принцессы Атех как будто объясняет историю ее хазарского лица:

«Я выучила наизусть жизнь своей матери и каждое утро в течение часа разыгрываю ее перед зеркалом как театральную роль. Это продолжается изо дня в день много лет. Я делаю это, одевшись в ее платье, с ее веером и с ее прической, потому и волосы я заплела так, как будто это шерстяная шапочка. Я играю ее роль и перед другими, даже в постели своего любимого. В минуты страсти я просто не существую, это больше не я, а она. Я играю так хорошо, что моя страсть исчезает, а остается только ее. Другими словами, она заранее украла у меня все мои любовные прикосновения. Но я ее не виню, потому что знаю, что и она так же точно была обкрадена своей матерью. Если кто-нибудь сейчас спросит меня, к чему столько игры, отвечу: я пытаюсь родиться заново, но только так, чтобы получилось лучше...»

О принцессе Атех известно, что она никогда не смогла умереть. Правда, существует запись, выгравированная на ноже, украшенном мелкими дырочками, где говорится о ее смерти. Это единственное и не вполне достоверное предание приводит Даубманнус[☆], однако не как рассказ о том, что принцесса Атех действительно умерла, а как рассуждение о

том, могла ли она вообще умереть. Как от вина не седеют волосы, так и от этого рассказа не будет вреда. Называется он:

Быстрое и медленное зеркало

Однажды весной принцесса Атех сказала: «Я привыкла к своим мыслям, как к своим платьям. В талии они всегда одной и той же ширины, и вижу я их повсюду, даже на перекрестках. И что хуже всего – из-за них уже и перекрестков не видно».

Чтобы развлечь принцессу, слуги принесли ей два зеркала. Они почти не отличались от других хазарских зеркал. Оба были сделаны из отполированной глыбы соли, но одно из них было быстрым, а другое медленным. Что бы ни показывало быстрое, отражая мир как бы взятым в долг у будущего, медленное отдавало долг первого, потому что оно опаздывало ровно настолько, насколько первое уходило вперед. Когда зеркала поставили перед принцессой Атех, она была еще в постели и с ее век не были смыты написанные на них буквы. В зеркале она увидела себя с закрытыми глазами и тотчас умерла. Принцесса исчезла в два мгновения ока, тогда, когда впервые прочла написанные на своих веках смертоносные буквы, потому что зеркала отразили, как она моргнула и до и после своей смерти. Она умерла, убитая одновременно буквами из прошлого и будущего...

БРАНКОВИЧ АВРАМ (1651–1689) – один из тех, кто писал эту книгу. Дипломат, служивший в Адрианополе и при Порте в Царьграде, военачальник в австрийско-турецких войнах, энциклопедист и эрудит. Портрет Бранковича был нарисован на стене основанного им храма Святой Параскевы в Купинике, родовом имении Бранковичей. Здесь он изображен в окружении своих родственников подающим на кончике сабли своей прабабке, сербской царице и святой, преподобной матери Ангелине, храм Святой Петки.

Источники. Данные об Авраме Бранковиче разбросаны по отчетам и доносам австрийских агентов, особенно их много в донесениях, которые составлял для принца Баденского и генерала Ветерани один из двух писарей Бранковича, Никон Севастѣ. Некоторое место отвел Авраму Бранковичу своему родственнику, и граф Джордже Бранкович (1645–1711) в своей влахской хронике и в обширных сербских хрониках, в тех частях, которые, к сожалению, в настоящее время утрачены. Последние дни Бранковича описал его слуга и учитель сабельного боя Аверкие Скилаѣ...

Хронологию жизни Бранковича наиболее полно можно восстановить по письменной исповеди, которую из Польши послал патриарху в Печ второй писарь Аврама Бранковича – Феоктист Никольски^А, а также на основе одной иконы, изображающей житие и чудеса Илии Пророка, потому что к каждому эпизоду из жизни этого святого Бранкович подгонял

события собственной жизни и делал записи об этом на задней стороне иконы.

«Аврам Бранкович происходит из семьи, которая пришла в придунайские края с юга, после падения сербского царства, когда оно оказалось под властью турок», – написано в секретном донесении Никона Севаста венскому двору. Члены этой семьи, подхваченные поднявшейся тогда волной исхода из мест, занятых турками, переселились в XVI веке в Липову и в Енопольский округ. С тех пор о трансильванских Бранковичах говорят, что они лгут на румынском, молчат на греческом, считают на еврейском, в церкви поют на русском, самые умные мысли произносят на турецком – и только тогда, когда хотят убить, употребляют свой родной, сербский, язык. Родом они из западной Герцеговины, из окрестностей Требинья, из села Кореничи, недалеко от Ластвы в Горни-Полици, отсюда и другое их имя – Кореничи. После переселения Бранковичи занимают видное место в Трансильвании, и их вино уже двести лет славится как самое лучшее в Валахии, существует даже поговорка: капля вина напоит допьяна. Семья Бранковича проявила себя не только в военном искусстве в стычках на границе двух веков и двух государств – венгерского и турецкого. На новом месте, на реке Мориш, в Енополе, Липове и Панкоте, она дала целый ряд видных священнослужителей. Мойсей Бранкович, он же епископ Матей, был митрополитом Енопольским, и орех, ко-

торый он бросал в Дунай, всегда быстрее других попадал в Черное море. Сын его, дядя графа Георгия Бранковича – Соломон (в сане епископа Енопольского он носил имя Сава I), управлял енопольской и липовской епархиями, не слезая с коня, и пил только в седле до той самой поры, пока Липова не была в 1607 году взята турками. Бранковичи утверждают, что их род идет от сербских деспотов Бранковичей, а откуда пришло к ним богатство – сказать трудно. Говорят, что в карман Бранковичей наяву попадает столько, сколько не может присниться даже всем вместе скрягам-лавочникам от Кавалы до Земуна. Их перстни холодны, как тело гадюки, их земли птица не облетит за один перелет, а в народных песнях о них поют наравне с правителями. Бранковичи покровительствуют монастырям во Влахии и на Афоне в Греции, они строят укрепления и церкви, такие как в стольном граде Белграде, Купнике или в местечке под названием Теус. Князь Жигмунд Ракоци одарил родственников Бранковича по женской линии селами и степями, пожаловал им дворянство, по женской же линии они состоят в родстве с Секелями из Эрделя, откуда в виде приданого тоже немало влилось в их состояние. Нужно заметить, что в семействе Бранковичей наследство переходит в зависимости от цвета бороды. Все наследники с рыжей бородой (а она передается по женской линии, потому что Бранковичи берут в жены только рыжеволосых) уступают в праве наследования чернобородым, чьи бороды свидетельствуют о том, что они получили кровь по

мужской линии. Владения Бранковичей в настоящее время оцениваются примерно в двадцать семь тысяч форинтов, а годовой доход от них составляет более полутора тысяч. И даже если их родословные могут вызвать сомнение, не вызывает сомнения их богатство – оно надежно и прочно, как земля, по которой они проносятся верхом, и груды золотых монет, хранящихся в их сундуках, не видели света дня более двухсот лет...

В Царьграде Аврам Бранкович появился хромым, с раздвоенным каблуком, и там ходят рассказы о том, как он был изуродован. Когда Аврам был мальчиком семи лет, турки ворвались во владение его отца и налетели на небольшую группу слуг, сопровождавших ребенка во время прогулки. Завидев турок, слуги разбежались, с Аврамом остался только один старик, который длинной палкой весьма искусно отражал все выпады всадников, пока их командир не выпустил в него изо рта стрелу, спрятанную в зажатой между зубами камышовой трубочке. Старик упал как подкошенный, а Аврам размахнулся изо всех сил хлыстом, который держал в руке, и стегнул турка по сапогам. Мальчик вложил в этот удар все свое отчаяние и ненависть, но турок только рассмеялся и, приказав поджечь село, ускакал. Годы ползли как черепахи, Аврам Бранкович вырос, случай этот забылся, потому что были новые стычки и Бранкович теперь сам вел своих воинов, неся в руке знамя и во рту камышинку с отравленной стрелой. Однажды на дороге они натолкнулись на вражеско-

го лазутчика, который шел вместе со своим сыном, еще мальчиком. Выглядели они на первый взгляд вполне безобидно, у каждого только по палке в руках. Один из людей Бранковича узнал старика, подъехал к нему вплотную, пытался его схватить. Старик отбивался палкой и не давался. Все заподозрили, что в палке у него спрятано секретное письмо, свернутое в трубку. Бранкович выпустил отравленную стрелу и убил старика. Тотчас мальчик, шедший со стариком, ударил Бранковича палкой. Ребенку не исполнилось, пожалуй, и семи лет, и вся его сила, ненависть и любовь не могли бы нанести вреда Бранковичу, но Бранкович рассмеялся и упал как подкошенный.

После этого удара он стал хромать на одну ногу, оставил военное ремесло; через своего родственника, графа Джордже Бранковича, добыл себе место дипломата в Адрианополе, Варшаве и Вене. Здесь, в Царьграде, Бранкович работал на английского посланника и жил в просторном каменном доме между башнями Йороз Калеси и Караташ на Босфоре. На первом этаже дома он приказал выстроить половину храма, посвященного матери Ангелине, его прабабке, которую Восточная Церковь объявила святой. Вторая половина того же храма находится в Трансильвании, месте постоянного пребывания отца Бранковича.

Аврам Бранкович – человек видный, с огромной грудной клеткой, напоминающей клетку для крупных птиц или небольших зверьков, и на него часто нападают убийцы, ведь

в народной песне поется, что кости его из золота.

В Царьград он прибыл так, как путешествует всегда, – на высоком верблюде, которого кормят рыбой. Животное под ним идет иноходью, и ни капли вина не проливается из чаши, укрепленной в оголовье. С раннего детства Бранкович спит не ночью, как все зрячие, а только днем, но когда он перевел свои часы и превратил день в ночь – сказать никто не может. Однако и во время своих ночных бдений он не может спокойно сидеть на месте, будто не дает ему покоя чужое горе. Поэтому за трапезой ему всегда ставят две тарелки, два стула и два стакана – среди обеда он часто неожиданно вскакивает и пересаживается на другое место. Точно так же не может он долго говорить на одном языке, а меняет их, как любовниц, и переходит то на румынский, то на венгерский или турецкий, а у одного попугая начал учить и хазарский язык. Известно, что во сне он говорит по-испански, но наяву это его знание тает, как снег на солнце. Не так давно кто-то пел ему во сне песню на непонятном языке. Песню он запомнил, и для того, чтобы перевести ее, нам пришлось искать человека, знающего языки, не известные Бранковичу. Так мы нашли одного раввина, и Бранкович прочитал ему на память слова песни. Она короткая и звучит так:

לְבִי בְמוֹרָח וְאֶנִּי בְסוֹף מַעֲרָב
אֵיךְ אֶטְעָמָה אֶת אֲשֶׁר־אֵכֵל וְאֵיךְ יַעֲרֹב
אִיכָּה אֲשַׁלֵּם נְדָרֵי וְאֶקְרִי בְעוֹד
צִיּוֹן בְּחֶבֶל אֲדוֹם וְאֲנִי בְּכָבֶל עָרָב
נֶקֶל בְּעֵינַי עֹזֵב כָּל־טוֹב סִפְרָד קִמּוֹ
נֶקֶר בְּעֵינַי רְאוֹת עֲקָרוֹת דְּבִיר וְנָחֵרֵב:

Раввин, услышав начало, тут же прервал Бранковича и продолжил песню до конца. Потом он написал имя автора стихов. Они были написаны еще в XII веке, и сложил их некий Иуда Халеви☆. С тех пор Бранкович учит древнееврейский. Однако то, чем он занимается в повседневной жизни, имеет совершенно практическую природу. Потому что способности его разносторонни, а улыбка среди других наук и умений его лица выступает в роли алхимии...

Каждый вечер, стоит ему проснуться, он начинает готовиться к бою. Точнее, он ежедневно упражняется в мастерстве владения саблей с одним из здешних знаменитых искусников. Искусник этот – копт по имени Аверкие Скила, которого Аврам нанял себе в слуги. Этот Аверкие носит один

глаз постным, а другой скоромным, а все морщины его лица связаны в узел над переносицей. У него есть самое подробное описание и каталог сабельных ударов, всех, какие когда-нибудь были применены, и прежде, чем внести в свой рукописный справочник какой-либо новый удар, он сам лично проверяет его на живом мясе. Бранкович закрывается вместе со своим слугой-коптом в огромном зале, пол которого застелен ковром размером с небольшой луг, и в полном мраке они упражняют свои сабли. Аверкие Скила обычно берет в левую руку один из концов длинной верблюжьей уздечки, другой ее конец подхватывает кир Аврам, тоже левой, а в правой у него сабля, такая же тяжелая, как и та, которую сжимает в темноте рука Аверкия Скилы. Медленно наматывают они уздечку на руку, пока не почувствуют, что уже приблизились друг к другу, и тогда замахиваются беспощадными саблями – в полной темноте, от которой можно оглохнуть. О быстроте удара Бранковича поют гусяры, да я и своими глазами прошлой осенью видел, как он стоит под деревом и ждет порыва ветра, и первый же плод, который падает вниз, на лету рассекает надвое. У него заячья губа, и, чтобы скрыть это, он отпустил усы, но, когда он молчит, между усами все равно видны зубы. И кажется, будто верхней губы у него нет вовсе, а усы растут на зубах...

...Сербы говорят, что он любит свой край и что всегда советуется со своими, однако у него есть странные недостатки, которые никак не приличествуют его роду занятий. Он

не умеет в разговоре поставить точку и выбрать ту минуту, когда следует подняться и уйти. Он всегда с этим тянет и наконец упускает момент, оставляя людей в недоумении чаще – при прощании, чем при встрече. Он употребляет гашиш, который специально для него готовит один евнух из Кавалы, никому больше он не доверяет. Но как это ни удивительно, у Бранковича нет постоянной потребности в опиуме, и для того, чтобы не приобрести зависимость, он время от времени посылает запечатанный ящик гашиша со своим курьером в Пешту откуда и получает его обратно с нетронутыми печатями спустя два месяца, когда, по его подсчетам, опиум уже сможет ему понадобиться. Всегда, когда Бранкович не в пути, огромное седло верблюда, украшенное бубенчиками, возвышается в его большой библиотеке и служит ему столом, за которым можно писать стоя. Дома во всех комнатах полно самых разных домашних предметов, которые выглядят какими-то испуганными, но никогда не найти рядом с ним или поблизости от него двух одинаковых вещей. Каждая вещь, или животное, или человек должны быть из разных сел. Среди его слуг сербы, румыны, греки, копты, а недавно он взял на службу одного турка из Анатолии. У кира Аврама есть большая и малая постели, и, поживая (а спит он всегда только днем), он перемещается из одной постели в другую. Пока он спит, его слуга, тот самый, что родом из Анатолии, Юсуф МасудиС, не сводит с него взгляда, от которого падают птицы. А проснувшись, кир Аврам – как будто в страхе –

поет в постели тропари и кондаки своим предкам, которых Сербская церковь причислила к лику святых.

Трудно судить о том, насколько Бранковича интересуют женщины. У него на столе стоит деревянная фигура обезьяны в натуральную величину с огромным членом. Иногда кир Аврам повторяет свое присловье: «Баба без зада, что село без церкви», только и всего. Раз в месяц господарь Бранкович отправляется в Галату, всегда к одной и той же гадалке, и она по картам читает его судьбу старинным и требующим большого терпения способом. В своем доме гадалка держит для Бранковича специальный стол, и на этот стол она бросает новую карту каждый раз, когда на дворе меняется ветер. От того, какой ветер подует, зависит, какая карта ляжет на стол Бранковича, и это продолжается годами. На прошлую Пасху, только мы вошли к ней, задул южный ветер, и гадалка сразу же изрекла:

– Вам приснится человек с одним седым усом. Молодой, с красными глазами и стеклянными ногтями на одной руке, он приближается к Царьграду и скоро вы встретитесь...

Это известие настолько обрадовало нашего господина, что он тут же приказал вдеть мне в ноздрю золотое кольцо и я едва смог спастись от этой милости.

* * *

Зная, насколько венский двор интересуется планами гос-

подаря Бранковича, я могу сказать, что Бранкович относится к тем людям, которые с особым вниманием и усердием заботятся о своем будущем, возделывают его, как большой сад. Он не из тех, кто проживает жизнь бегом. Свое будущее он заселяет медленно и осознанно. Открывает его для себя шаг за шагом, как неведомую землю, сначала раскорчевывает и только потом строит в самом подходящем месте здание, в котором потом еще долго переставляет все вещи, пока не найдет их истинное расположение. Он обращает внимание на то, чтобы будущее не замедлило свой ход и рост, однако заботится и о том, чтобы самому не разогнаться и не зашагать вперед быстрее, чем оно может продвигаться впереди него. Это своего рода гонка. И проигрывает тот, кто быстрее. В настоящий момент будущее кира Аврама похоже на сад, в котором уже посажено семя, но лишь один он знает, что из него прорастет. Тем не менее о том, что за планы строит Бранкович, можно догадаться по той истории, которую пересказывают друг другу только шепотом. Это

Повесть о Петкутине и Калине

Старший сын кира Аврама Бранковича, Гргур Бранковичѣ, рано сунул ногу в стремя и взмахнул саблей, закаленной в огне горящего верблюжьего навоза. Его одежду, обшитую кружевами и испачканную кровью, в то время из Джулы, где Гргур жил с матерью, посылали в Царьград, чтобы ее

там выстирали и отгладили под надзором отца, просушили на свежем ветре с Босфора, отбелили под греческим солнцем и с первым караваном отправили обратно в Джулу Второй, младший, сын Аврама Бранковича лежал в то время где-то в Бачке за разноцветной печью, сложенной наподобие церкви, и мучился. Говорили, что с тех пор, как на ребенка помогился дьявол, он встает по ночам, убегает с метлой из дома и подметает улицы. Потому что по ночам его сосала Морь, кусала за пятки и из его сосков текло мужское молоко. Напрасно втыкали в дверь вилку и, поплевав на сложенные в кукиш три пальца, крестили ими его грудь. Наконец одна женщина посоветовала ему лечь спать с ножом, намоченным в уксусе, а когда Морь навалится на него, пообещать ей дать утром займы соли и вонзить в нее нож. Мальчик все так и сделал, когда Морь принялась сосать его, он предложил ей займы соли, вонзил в нее нож, и тут послышался крик, в котором он узнал давно знакомый голос. На третий день приехала из Джулы в Бачку его мать, с порога попросила соли и упала замертво. На ее теле нашли рану от удара ножом, на вкус она оказалась кислой... С тех пор мальчик занемог от ужаса, у него начали выпадать волосы, и с каждым выпавшим волосом (как сказали Бранковичу знахари) он терял год жизни. Клоки волос, запакованные в юту, пересылали Бранковичу. Он приклеивал их к мягкому зеркалу, на котором было нарисовано лицо ребенка, и таким образом знал, на сколько лет меньше осталось жить его сыну.

Почти никто, однако, не знал, что кроме этих двух сыновей у кира Аврама был еще и приемный сын, если его вообще можно было так назвать. Этот третий, или же приемный, сын не имел матери. Бранкович сделал его из глины и прочитал над ним сороковой псалом, чтобы вдохнуть в него жизнь и заставить двигаться. Когда он произнес слова: «Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота; и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои...» — три раза прозвонил колокол на церкви в Дале, юноша шевельнулся и сказал:

— Когда прозвонили в первый раз, я был в Индии, при втором ударе — в Лейпциге, а с третьим ударом вошел в свое тело...

Тогда Бранкович связал его волосы Соломоновым узлом, привесил к ним ложку из боярышника, дал имя Петкутин и пустил в мир. А сам надел на шею веревку с камнем и простоял так всю литургию в средопостную неделю.

Отец, разумеется, должен был (для того чтобы все было как у живых) вложить в тело Петкутина и смерть. Этот зародыш конца, эта маленькая и еще несовершеннолетняя смерть была в Петкутине сперва боязливой и глуповатой, нетребовательной к пище, с недоразвитыми членами. Но уже тогда она безмерно радовалась тому, что Петкутин растет, а рос он так, что его расшитые рукава скоро стали такими большими, что в них могли летать птицы. Но вскоре смерть

в Петкутине стала быстрее и умнее, чем он сам, и опасности она замечала раньше его. А потом она повела себя так, будто приобрела соперницу, о которой речь еще впереди. Она стала нетерпеливой и ревливой и пыталась обратить на себя внимание тем, что вызывала у Петкутина зуд на колене. Он чесал его и ногтем оставлял на коже написанные буквы, которые потом можно было читать. Так они переписывались. Особенно не любила смерть Петкутиновы болезни. А отец должен был снабдить Петкутина и болезнью, раз он хотел, чтобы сын как можно больше походил на живое существо, ведь без болезни живое существо как без глаз. Однако Бранкович постарался, чтобы болезнь Петкутина была как можно более безопасной, и наградил его сенной лихорадкой, той самой, что возникает весной, когда начинают колоситься травы и цветы осыпают ветер и воду пылью.

Бранкович поместил Петкутина в свое имение в Дале, в дом, полный борзых собак, которым загрызть насмерть было проще, чем съесть. Раз в месяц слуги гребнями вычесывали их подстилки и выбрасывали длинные клоки пестрой собачьей шерсти, похожие на собачьи хвосты. Комнаты, в которых жил Петкутин, со временем приобретали всегда одну и ту же, особую окраску, по которой его пристанище всегда можно было отличить ото всех других. Следы и жирные пятна, которые оставались после него и его пота на стеклянных ручках дверей, подушках, стульях, диванах и креслах, на курительных трубках, ножах и чашках, отливали радугой

с одному ему свойственными переливами красок. Это была разновидность портрета, иконы или росписи. Бранкович иногда заставлял Петкутина в зеркалах огромного дома, замурованного в зеленую тишину. Он обучал его как в равновесии соединить в себе осень, зиму, весну и лето с водой, землей, огнем и ветром, которые человек тоже носит внутри своей утробы. Огромная работа, которую следовало проделать, продолжалась долго, у Петкутина появились мозоли на мыслях, мышцы его памяти были напряжены до предела. Бранкович научил его читать левым глазом одну, а правым – другую страницу книги, писать правой рукой по-сербски, а левой по-турецки. Потом он познакомил его с литературой, и Петкутин успешно определял в трудах Пифагора места, на которых отразилось чтение им Библии, а подписывался он так быстро, будто ловил муху.

Короче говоря, он стал красивым и образованным юношей и лишь время от времени делал что-нибудь такое, по чему можно было предположить, что он слегка отличается от других людей. Так, например, в понедельник вечером он мог вместо следующего дня недели взять из будущего какой-то другой и использовать его назавтра вместо вторника. А дойдя до использованного дня, он употреблял на его месте вторник, через который в свое время перескочил, – таким образом, баланс был восстановлен. Правда, в таких случаях швы между днями получались не совсем гладкими, возникали трещины во времени, но это только развлекало Петку-

тина.

С его отцом дело обстояло иначе. Он постоянно сомневался в совершенстве своего произведения, и когда Петкутину исполнился двадцать один год, решил проверить, во всем ли тот может соперничать с настоящими человеческими существами. Бранкович рассуждал так: живые его проверили, теперь нужно, чтобы его проверили мертвые. Потому что только в том случае, если обманутся и мертвые и, увидев Петкутина, подумают, что перед ними настоящий человек из крови и мяса, который сначала солит, а потом ест, можно будет считать, что опыт удался. Придя к такому решению, он нашел Петкутину невесту.

У вельмож Влахии принято иметь при себе одного телохранителя и одного хранителя души, Бранкович тоже когда-то придерживался этого правила. Хранителем его души был фракийский валах, который говорил, что в мире все стало истиной, и у которого была очень красивая дочь. Девочка все лучшее взяла от матери, так что та после родов осталась навсегда безобразной. Когда малышке исполнилось десять лет, мать своими когда-то прекрасными руками научила ее месить хлеб, а отец подозвал к себе, сказал, что будущее не вода, и преставился. Девочка пролила по отцу ручьи слез, так что муравьи, двигаясь вдоль этих ручьев, могли подняться до самого ее лица. Она осиротела, и Бранкович устроил так, что она встретилась с Петкутином. Звали ее Калина, ее тень пахла корицей, и Петкутин узнал, что полюбит она того,

кто в марте ел кизил. Он дождался марта, наелся кизила и позвал Калину погулять по берегу Дуная. Когда они прощались, Калина сняла с руки кольцо и бросила его в реку.

– Если случается что-нибудь приятное, – объяснила она Петкутину, – всегда нужно приправить это какой-нибудь неприятной мелочью – так этот момент лучше запомнится. Потому что человек дольше помнит не добро, а зло.

Короче говоря, Петкутин понравился ей, она понравилась Петкутину, и той же осенью всем на радость их обвенчали. Сваты и кумовья после свадьбы распрощались, перецеловались друг с другом, перед тем как расстаться на долгие месяцы, и так, в обнимку, пошли на прощание еще выпить ракии, и еще, и еще – от бочки к бочке, до самой весны, когда они наконец протрезвели, огляделись вокруг себя и после долгого зимнего похмелья снова увидели друг друга. Тогда они вернулись в Даль и, паля в небо из ружей, проводили молодых в весеннюю поездку, как было принято в этих местах. Нужно иметь в виду, что в Дале принято ездить отдохнуть или просто развеяться – к древним развалинам, где сохранились прекрасные каменные скамьи и греческий мрак, который гораздо гуще любой другой темноты, так же как и греческий огонь ярче любого другого огня. Туда же отправились и Петкутин с Калиной. Издали казалось, что Петкутин правит упряжкой вороных, но стоило ему на ходу чихнуть от запаха каких-нибудь цветов или щелкнуть хлыстом – от коней разлеталось по сторонам облако черных мух и было

видно, что кони белые. Однако это не мешало ни Петкутину, ни Калине.

Этой зимой они полюбили друг друга. Ели одной вилкой по очереди, и она пила из его рта вино. Он ласкал ее так, что душа скрипела у нее в теле, а она его обожала и заставляла мочиться в себя. Смеясь, она говорила своим сверстницам, что ничто не щекочет так приятно, как трехдневная мужская щетина, проросшая в дни любви. А про себя думала серьезно: мгновения моей жизни умирают, как мухи, проглоченные рыбами. Как сделать, чтобы ими мог кормиться и его голод? Она просила, чтобы он отгрыз ей ухо и съел его, и никогда не закрывала за собой ящики и дверцы шкафов, чтобы не помешать своему счастью. Она была молчалива, потому что выросла в тишине одной и той же бесконечной отцовской молитвы, вокруг которой всегда схватывалась одна и та же разновидность тишины. И теперь, когда они двинулись в путь, происходило что-то похожее, и ей это нравилось. Петкутин накинул вожжи упряжки себе на шею и читал какую-то книгу, а Калина болтала и при этом играла в одну игру. Если в своей болтовне она произносила какое-нибудь слово в тот же момент, когда и Петкутин встречал это же слово в своей книге, они менялись ролями, и тогда чтение продолжала она, а он пытался попасть на то же слово. Так, когда она показала пальцем на овцу в поле, а он сказал, что именно сейчас дошел в книге до того момента, когда речь зашла об овце, она не захотела поверить и, взяв книгу, уви-

дела, что в ней говорится буквально следующее:

*«Когда уж принес я обеты и мольбы, когда помолился
миру мертвых, то овцу и овна над пропастью этой
заклал; черная кровь потекла, и тогда снизу
начали из Эреба души слетаться покойных людей:
невесты, юноши, с ними долготерпеливые старцы,
нежные девушки – все собрались после недавних печалей
и скорби».*

Увидев такое совпадение, Калина продолжила чтение, и
далее последовало:

*«Многие те, которых когда-то пронзили медно-кованные
копья,
с окровавленным оружием были, с которым некогда пали
в борьбе;
возле пропасти этой со всех сторон собрались
с воплями, с криком, а я побледнел, и объял меня страх...
И я острый меч выхватил, что висел у меня на бедре,
сел рядом и к пропасти не подпускал ни одну из теней,
крови чтоб не напилась прежде, чем я у пророков
спрошу...»*

В тот момент, когда она произнесла слово «теней», Петку-
тин заметил тень, которую отбрасывал на дорогу разрушен-
ный римский театр. Они приехали.

Вошли они через вход, предназначенный для актеров, бу-

тыль с вином, грибы и кровяную колбасу, которые были у них с собой, поставили на большой камень посреди сцены и поскорее спрятались в тени. Петкутин собрал сухие лепешки буйвольего навоза, немного веток, покрытых засохшей грязью, отнес все это на сцену и высек огонь. Звук от соприкосновения огнива и кремня был слышен очень ясно даже на самых последних, верхних, рядах амфитеатра. Но снаружи, за пределами зрительного зала, где буйствовали дикие травы и запахи брусники и лавра, не было слышно ничего из того, что происходило внутри. Огонь Петкутин посолил, чтобы не чувствовался запах навоза и грязи, затем, обмакнув грибы в вино, бросил их вместе с кровяной колбасой на тлеющие угли. Калина сидела и смотрела на то, как в амфитеатре заходящее солнце переходит с места на место и приближается к выходу. Петкутин прогуливался по сцене и читал вслух имена давних владельцев мест, выбитые на скамьях, громко выговаривая древние незнакомые слова: Caius Veronius Act... Sextus Clodius Cai fi lius, Publila tribu... Sorto Servilio... Veturia Acia...

– Не вызывай мертвых! – предостерегла его Калина. – Не вызывай их, придут!

Как только солнце покинуло сцену, она сняла с жара грибы и кровяную колбасу и они сели есть. Слышимость была великолепной, и каждый кусок, который они пережевывали, отдавался эхом от каждого места особо, с первого по восьмой ряд, каждый раз по-разному, возвращая звук назад к ним,

на середину сцены. Казалось, что те зрители, имена которых были выбиты на скамьях, ели вместе с супругами или жадно причмокивали при каждом новом куске. Сто двадцать пар мертвых ушей прислушивалось с напряженным вниманием, и весь зрительный зал жевал вместе с супружеской парой, похотливо вдыхая запах пищи. Когда они прерывали трапезу, делали перерыв и мертвые, как будто кусок застревал у них в горле, и тогда они напряженно следили за тем, что будут теперь делать молодожены. В такие моменты Петкутин с особой осторожностью резал пищу, стараясь не поранить палец, потому что ему казалось, что запах настоящей, живой крови может вывести зрителей из равновесия и тогда они, молниеносные как боль, бросятся со своих мест на него и Калину и разорвут их на куски, движимые своей двухтысячелетней жаждой. Почувствовав легкое дуновение ужаса, Петкутин прижал к себе Калину и поцеловал ее. Она тоже поцеловала его, и послышалось, как на местах зрителей раздалось чмокание ста двадцати пар губ, как будто и там целовались и любили.

После того как они поели, Петкутин бросил остатки еды в огонь, а когда они догорели, загасил угли вином, и их шипение сопровождалось приглушенным «Пссссссссст!», раздавшимся со зрительских мест. Только он хотел вложить нож в ножны, как налетел порыв ветра, принесший на сцену облачко цветочной пыли. Петкутин чихнул и в тот же момент порезал руку. Запахло кровью, упавшей на нагретый за

день камень...

В тот же момент сто двадцать умерших душ обрушилось на них с визгом и урчанием. Петкутин схватился за меч, но Калину уже рвали на части, раздирая по кускам ее живое мясо, пока ее крики не превратились в такие же, как издавали мертвецы, и пока она сама не присоединилась к ним, пожирая еще несъеденные куски собственного тела.

Петкутин не знал, сколько дней прошло, прежде чем он понял, где находится выход из театра. Он блуждал по сцене вокруг остатков костра и их ужина до тех пор, пока кто-то невидимый не поднял с земли его плащ и не закутался в него. Пустой плащ подошел к нему и окликнул его голосом Калины.

Он обнял ее, содрогаясь от страха, однако под тканью плаща и на дне голоса не было ничего, кроме пурпурной подкладки.

– Скажи мне, – сказал Петкутин Калине, обнимая ее, – мне кажется, что тысячу лет назад со мной тут случилось нечто ужасное. Кого-то здесь разорвали на куски и сожрали, и кровь все еще видна на земле. Я не знаю, действительно ли это произошло, а если произошло, то когда? Кого съели? Меня или тебя?

– С тобой ничего не случилось, это не тебя разорвали на куски, – ответила ему Калина. – И было это совсем недавно, а не тысячу лет назад.

– Но я тебя не вижу, кто из нас двоих мертв?

– Ты, юноша, не видишь меня, потому что живые не могут видеть мертвых. Ты можешь только слышать мой голос. Что же касается меня, я не знаю, кто ты такой, и не могу тебя узнать, пока не попробую каплю твоей крови. Но я тебя вижу, успокойся, я прекрасно тебя вижу. И знаю, что ты жив.

– Калина! – крикнул тогда он. – Это я, твой Петкутин, разве ты меня не знаешь? Совсем недавно, если это было совсем недавно, ты целовала меня.

– Какая разница, совсем недавно или тысячу лет назад, теперь, когда все так, как есть?

В ответ на эти слова Петкутин вытащил нож, поднес палец к тому месту, где, как он думал, находились невидимые губы его жены, и сделал надрез.

Запахло кровью, но она не успела пролиться на камень, потому что Калина жадно ждала ее. Узнав Петкутина, она вскрикнула и начала рвать его на куски, как падаль, страстно слизывая кровь и бросая кости в зрительный зал, откуда уже рвались на сцену остальные.

* * *

В тот день, когда все это происходило, кир Аврам Бранкович записал следующие слова: «Опыт с Петкутином успешно закончен. Он сыграл свою роль с таким совершенством, что смог обмануть и живых и мертвых. Теперь можно переходить к более сложной части задачи. От малой попытки к

большой. От человека к Адаму».

Таким образом, планы кира Аврама Бранковича проясняются. В планы, которые он строит, входят две ключевые персоны. Один план связан с влиятельным родственником Бранковича, графом Джордже Бранковичем, о котором венский двор располагает гораздо более надежными и обширными сведениями, чем есть у нас. Второй – с персоной, которую кир Аврам называет «курор» (что по-гречески значит «юноша», «мальчик»). Здесь, в Царьграде, он ожидает его прихода, как евреи ждут прихода Мессии. Эту персону, насколько удалось установить, Бранкович не знает лично, не знает он даже и ее имени (отсюда и это ласкательное греческое слово) и видится с ней только во сне. Но сны его эта персона посещает регулярно, и Бранкович видит ее всегда, когда видит сны. По свидетельству самого господаря Аврама, курор – это молодой человек с усами, один из которых сед, у него стеклянные ногти и красные глаза. Бранкович ожидает, что однажды встретится с ним и с его помощью узнает или поймет что-то, что представляется ему очень важным. От своего курора Бранкович во сне научился читать справа налево на еврейский манер и видеть сны от конца и до начала. Эти необыкновенные сны, в которых кир Аврам превращается в курора или, если вам угодно, в еврея, начались много лет назад. Сам Бранкович говорит о своем сне, что сначала он почувствовал какое-то беспокойство, которое, подобно камню, брошенному в его душу, падало через нее на протя-

жении дней, и падение это прекращалось только ночью, когда вместе с камнем падала и душа. Позже этот сон полностью овладел его жизнью, и во сне он становился в два раза моложе, чем наяву. Из его снов навсегда исчезли сначала птицы, затем его братья, потом отец и мать, простившись с ним перед исчезновением. Потом бесследно исчезли все люди и города из его окружения и воспоминаний, и наконец из этого совершенно чужого мира исчез и он сам, как будто бы ночью, во время сна, он превратился в какого-то совсем другого человека, лицо которого, мелькнувшее перед ним в зеркале, испугало его так же, как если бы он увидел собственную мать или сестру, заросшую бородой. У того, другого, были красные глаза и стеклянные ногти, а один ус – седой.

В этих снах, прощаясь со всем окружавшим его, Бранкович дольше всего видел свою покойную сестру, но и она в этих снах каждый раз теряла что-то в своем облике, так хорошо знакомом Бранковичу, а взамен получала новые черты, незнакомые и чужие. Они достались ей от какой-то неизвестной особы, которая дала ей прежде всего голос, потом цвет волос, зубы, так что в конце концов оставались лишь руки, которые обнимали Бранковича все более и более страстно. Все остальное уже не было ею. И вот однажды ночью, которая была такой тонкой, что два человека, один из которых стоял во вторник, а второй в среде, могли через нее пожать друг другу руки, она пришла к нему преображенной совершенно, такой прекрасной, что от ее красоты весь мир вокруг

замер. Она обняла его руками, на каждой из которых было по два больших пальца. Он едва не сбежал от нее из своего сна, но потом сдался и сорвал, как персик с ветки, одну из ее грудей. После этого он снимал с нее, как с дерева, каждый свой день, а она дарила ему каждый раз новые плоды, все слаще и слаще, и так он спал с ней дни напролет в разных снах, как делают это другие люди со своими наложницами в нанятых на ночь домах. Но в ее объятиях он никогда не мог определить, какую из ее рук с двумя большими пальцами он чувствует на своем теле, потому что разницы между ними не было. Одна ко эта любовь в сновидениях истощала его наяву, причем так сильно, что он просыпался почти полностью выжатым из своих снов в собственную постель. Тогда она пришла к нему и в последний раз сказала:

– Кто с горечью в душе проклинает, тот будет услышан. Может быть, мы еще встретимся в какой-нибудь другой жизни.

Бранкович никогда не узнал, говорила ли она это ему, кину Авраму Бранковичу, или же его двойнику из сна, с седым усом, курсу, в которого Бранкович превращался, пока спал. Потому что во сне он давно уже не чувствовал себя Аврамом Бранковичем. Он чувствовал себя совсем другим, тем самым, у которого стеклянные ногти. В своих снах он уже много лет не хромал, как наяву. По вечерам казалось ему, что его будит чья-то усталость, так же как с утра он ощущал сонливость оттого, что кто-то где-то чувствует себя выпав-

шимся, вполне пробудившимся и бодрым. Веки его тяжеле-
ли всегда, когда где-то раскрывались чьи-то чужие глаза. Его
и незнакомца соединяют друг с другом сообщающиеся сосу-
ды силы и крови, и эта сила переливается из одного в друго-
го так же, как переливают вино, чтобы оно не скисло. Чем
больше один из них ночью во время сна отдохнул и набрался
сил, тем больше те же самые силы покидали другого, остав-
ляя место усталости и сну. Самое страшное было – неочи-
данно заснуть посреди улицы или в другом неподходящем
месте, будто этот сон не сон, а отклик на чье-то пробуждение
в тот момент. Недавно случилось с киром Аврамом так, что
он, наблюдая лунное затмение, уснул, причем столь неочи-
данно и быстро, что, видно, тут же окунулся в сон, где его
избивали плеткой, и он сам потом не верил, что, падая, уже
спящим, рассек себе лоб на том самом месте, по которому
пришелся во сне один из ударов...

Мне кажется, что и «курор» и Иуда Халеви имеют непо-
средственное отношение к тому делу, которым господарь
Бранкович и мы, его слуги, занимаемся уж несколько лет.
Речь идет об одном глоссарии или же азбуке, которую я бы
назвал «Хазарским словарем». Над этим словарем он рабо-
тает без устали, преследуя особые цели. В Царьград из За-
рандской жупании и из Вены для Бранковича прибыли во-
семь верблюдов, нагруженных книгами, и все время прибы-
вают новые и новые, так что он отгородился от мира стеной
словарей и старых рукописей. Я знаю толк в красках, черни-

лах и буквах, влажными ночами я нюхом распознаю каждую букву и, лежа в своем углу, читаю по запахам целые страницы неразмотанных запечатанных свитков, которые сложены где-нибудь на чердаке под самой крышей. Кир Аврам же больше всего любит читать на холоде, в одной рубашке, дрожа всем телом, и только то из прочитанного, что, несмотря на озноб, овладевает его вниманием, он считает достойным запоминания, и эти места в книге он отмечает. Каталог, который Бранкович собрал при своей библиотеке, охватывает тысячи листов на различные темы: от перечня вздохов и восклицаний в старославянских молитвах до списка солей и чаев и огромного собрания волос, бород и усов самых различных цветов и фасонов живых и мертвых людей всех рас. Господарь наклеивает их на стеклянные бутылки и держит у себя как своего рода музей старинных причесок. Его собственные волосы в этой коллекции не представлены, однако он приказал вышить ими на нагрудниках, которые он всегда носит, свой герб с одноглазым орлом и девизом: «Каждый господарь свою смерть любит».

С книгами, коллекциями и картотекой Бранкович работает каждую ночь, но главное внимание его приковано к составлению (что он держит в строгой тайне) азбуки, вернее, словаря о крещении хазар^V-давно исчезнувшего племени с берегов Черного моря, которое имело обычай хоронить своих покойников в лодках. Это должен быть некий перечень биографий или сборник житий всех, кто несколько сот лет

назад участвовал в обращении хазар в христианскую веру, а также тех, после кого остались какие-либо более поздние записи об этих событиях. Доступ к «Хазарскому словарю» имеем только мы — два его писаря, — я и Феокист Никольски. Такая предосторожность связана, видимо, с тем, что Бранкович здесь, в частности, рассматривает и различные ереси, не только христианские, но и еврейские, и магометанские, и наш патриарх из Печской патриархии, который каждый август на День успения святой Анны перечисляет все анафемы, безусловно, одну из них предназначил бы киру Авраму знай он, что тот задумал.

Бранкович располагает всеми доступными сведениями о Кирилле[†] и Мефодии[†], христианских святых и миссионерах, которые с греческой стороны участвовали в крещении хазар. Особую трудность для него, однако, составляет то, что он не может внести в эту азбуку еврейского и арабского участников обращения хазар, а они тоже причастны к этому событию и к полемике, которая тогда велась при дворе хазарского кагана^V. Об этом еврее и арабе он не только не смог узнать ничего, кроме того, что они существовали, но их имена не встречаются ни в одном из доступных ему греческих источников, где говорится о хазарах. В поисках еврейских и арабских свидетельств о крещении хазар его люди побывали в монастырях Валахии и в подвалах Царьграда, и сам он приехал сюда, в Царьград, для того, чтобы здесь, откуда некогда в хазарскую столицу для крещения хазар были посланы мис-

сионеры Кирилл и Мефодий, найти рукописи и людей, которые этим занимаются. Но грязной водой колодца не промоешь, и он не находит ничего! Бранкович не может поверить, что лишь он один интересуется хазарами и что в прошлом этим не занимался никто вне круга тех христианских миссионеров, которые оставили сообщения о хазарах со времен святого Кирилла. Я уверен, утверждает он, что кто-то из дервишей или еврейских раввинов, конечно же, знает подробности о жизни еврейского или арабского участника полемики, однако ему никак не удастся найти такого человека в Царьграде, а может, они не хотят говорить о том, что им известно. Бранкович предполагает, что наряду с христианскими источниками существуют не менее полные арабские и еврейские источники об этом народе и его обращении, но что-то мешает людям, знающим это, встретиться и связать в одно целое свои знания, которые только вместе могли бы дать ясную и полную картину всего, что относится к этому вопросу.

– Не понимаю, – часто говорит он, – может быть, я все время слишком рано останавливаю свои мысли и поэтому они созревают во мне лишь до половины и высовываются только до пояса...

Причину такого безмерного интереса кира Аврама к столь малозначительному делу по-моему объяснить нетрудно. Господарь Бранкович занимается хазарами из самых эгоистических побуждений. Он надеется таким образом избавиться от

сновидений, в которые заточен. Курос из его снов тоже интересуется хазарским вопросом, и кир Аврам знает это лучше нас. Единственный способ для кира Аврама освободиться из рабства собственных снов – это найти незнакомца, а найти его он может только через хазарские документы, потому что это единственный след, который ведет его к цели. Мне кажется, что так же думает и тот, другой. Таким образом, их встреча неизбежна, как встреча тюремщика и заключенного. Поэтому и неудивительно, что кир Аврам в последнее время так усердно упражняется со своим учителем на саблях... Куроса своего он ненавидит так, что, кажется, глаза бы ему выпил, как птичьи яйца. Как только до него доберется... Вот что можно предположить, однако, если это безосновательно, то следует вспомнить слова Аврама Бранковича об Адаме и его успешный опыт с Петкутином. В таком случае он представляет опасность, и то, что он собирается сделать, может иметь непредвиденные последствия, причем в таком случае «Хазарский словарь» для Бранковича – это лишь подготовительный, письменный, этап к активным действиям в жизни...

* * *

Этимися словами завершается донесение Никона Севаста об Авраме Бранковиче. О последних днях своего господина Саваст, однако, не мог донести никому, потому что и госпо-

дарь, и слуга были убиты однажды в среду, облаченную в туманы и заплутавшую где-то в Валахии. Запись об этом событии оставил другой слуга Бранковича – уже упоминавшийся мастер сабельного боя Аверкие Скила. Эта запись выглядит так, как будто Скила писал концом своей сабли, обмакивая ее в чернильницу, стоящую на земле, а бумагу придерживал сапогом.

«В последний царьградский вечер, перед отъездом, – записал Аверкие Скила, – папас Аврам собрал нас в своем большом зале с видом на три моря. Дул ветер: зеленый – с Черного моря, голубой, прозрачный – с Эгейского, сухой и горький – с Ионического. Когда мы вошли, наш господарь стоял рядом с верблюжьим седлом и читал. Собирался дождь, анатолийские мухи, как всегда перед дождем, кусались, и он отгонял их, защищаясь хлыстом и безошибочно попадая самым кончиком в место укуса на своей спине. В тот вечер мы уже позанимались нашими обычными упражнениями на саблях, и если бы я постоянно не имел в виду, что одна нога у него короче другой, он в темноте распорол бы меня. Ночью он всегда был проворнее, чем днем. Сейчас на этой короткой ноге у него вместо шерстяного носка было птичье гнездо, потому что оно лучше греет...

Мы уселись – все четверо, кого он позвал: я, два его пи-саря и слуга Масуди, который уже сложил все необходимые для путешествия вещи в зеленый мешок. Взяли по ложечке черешневого варенья с острым перцем и выпили по стакану

воды из колодца, который находился здесь же, в комнате, и хоронил эхо наших голосов в подвале башни. После этого папас Аврам заплатил нам причитающееся за службу и сказал, что кто хочет – может остаться в Царьграде. Остальные вместе с ним отправляются воевать на Дунай.

Мы думали, что разговор на этом закончен и далее он нас не задержит. Но у Бранковича была одна особенность: мудрость его обострялась в момент, когда он расставался с собеседником. Тогда он делал вид, что ничего не произошло, но прощался несколько позже, чем это естественно и прилично. Он всегда пропускал тот миг, когда всё уже сказано и когда все вокруг снимают маски и принимают свой обычный вид, такой, который имеют наедине с собой. Так случилось и на этот раз. Он сжимал в своей руке руку анатолийца и неподвижным взглядом исподтишка смотрел на присутствующих. Неожиданно между Масуди и Никоном Севастом сверкнула молния страшной ненависти, которую до сих пор обе стороны не замечали или тщательно скрывали. Это произошло после того, как Масуди сказал киру Авраму:

– Господин мой, я хочу отблагодарить тебя за подарки, прежде чем мы расстанемся. Я скажу тебе нечто такое, что обрадует тебя, потому что ты давно жаждешь это узнать. Того, кто тебе снится, зовут Самуэль Коэн☆.

– Ложь! – вскрикнул вдруг Севаст, схватил зеленый мешок Масуди и швырнул его в очаг, который горел в комнате. Масуди с неожиданным спокойствием повернулся к папасу

Авраму и сказал, показывая на Никона Севаста:

– Посмотри, господин, у него только одна ноздря в носу и мочится он хвостом, как положено Сатане.

Папас Аврам подхватил попугая, державшего в когтях фонарь, и опустил их на пол. Стало светлее, и мы увидели, что нос Никона Севаста и правда с одной ноздрей, черной и не разделенной посредине перегородкой, как это и бывает у нечистых. Тогда папас Аврам сказал ему:

– Ты, значит, из тех, кто не меняет обувь?

– Да, господин, но я и не из тех, кто страдает медвежьей болезнью. Я не отрицаю того, что я Сатана, – признал он без колебания, – я только напоминаю, что принадлежу к преисподней христианского мира и неба, к злым духам греческой территории, к аду под юрисдикцией Православной Церкви. Потому что точно так же, как небо над нами поделено между Иеговой, Аллахом и Богом Отцом, преисподняя поделена между Асмодеем, Иблисом и Сатаной. По случайности я попался на земле нынешней турецкой империи, но это не дает права Масуди и другим представителям исламского мира судить меня. На это уполномочены только служители христианской церкви, лишь их суд может быть признан правомочным. В противном случае может оказаться, что христианские или еврейские судьи начнут судить представителей исламского ада, если те окажутся в их руках. Пусть наш Масуди подумает об этом предупреждении...

На это папас Аврам ответил:

– Мой отец, Иоаникий Бранкович, имел дело с такими, как ты. В каждом нашем доме в Валахии всегда были собственные домашние ведьмы, чертенята, оборотни, с которыми мы ужинали, насылали на них добрых духов-защитников, заставляли считать дырки в решете и находили возле дома их отвалившиеся хвосты, собирали с ними ежевику, привязывали их у порога или к волу и секли в наказание и загоняли в колодцы. Как-то вечером в Джуле отец застал в нужнике огромного снеговика, сидящего над дырой. Ударил его фонарем, убил и пошел ужинать. На ужин были щи с кабанятиной. Сидит он над щами, как вдруг – шлеп! – голова его падает в тарелку. Поцеловался с собственным лицом, которое оттуда выглядывало, и захлебнулся в тарелке щей. Прямо у нас на глазах, прежде чем мы поняли, что происходит. Я и по сей день помню, что, захлебываясь в щах, он вел себя так, словно был в объятиях любимой, обнимал миску обеими руками, будто перед ним не щи, а чья-то голова. Одним словом, хоронили мы его так, будто вырывали из чьих-то крепких объятий... А чтобы отец не превратился в вампира, мы бросили его сапог в Муреш. Если ты Сатана, а это так, то скажи мне, что означала смерть моего отца Иоаникия Бранковича?

– Это вы узнаете сами и без моей помощи, – ответил Севаст. – Но я вам скажу кое-что другое. Я знаю слова, которые звучали в ушах вашего отца, когда он умирал: «Немного вина, вымыть руки!» Это прозвенело у него в ушах в момент смерти. И теперь еще одно, чтобы не говорили потом, что я

все из пальца высосал.

Вы занимаетесь хазарским словарем несколько десятилетий, давайте и я что-нибудь к нему добавлю.

Слушайте теперь то, чего вы не знаете. Три реки античного мира мертвых – Ахеронт, Пирифлегетон и Коцит – принадлежат сейчас преисподним ислама, иудаизма и христианства; их русла разделяют три ада – геенну, ад и ледяную преисподнюю магометан, под территорией бывшей страны хазар. Здесь как раз и сходятся границы трех загробных миров: огненное государство Сатаны с девятью кругами христианского ада, с тронem Люцифера и знаменами владыки тьмы; исламский ад с царством ледяных мук Иблиса и область Гевары с левой стороны от Храма, где сидят еврейские боги зла, вожеления и голода, геенна во власти Асмодея. Эти три ада существуют отдельно, граница между ними пропахана железным плугом, и никому не позволено ее переходить. Правда, вы эти три ада представляете себе неправильно, потому что у вас нет опыта. В еврейском аду, в державе ангела тьмы и греха Велиала, корчатся в огне вовсе не евреи, как вы думаете. Там горят одни лишь арабы и христиане. Точно так же и в христианском пекле нет христиан – в огонь там попадают магометане или сыны и дочери Давида; в то время как в магометанском аду страдают только христиане и евреи, ни одного турка или араба там нет. Теперь представьте себе Масуди, который трепещет при мысли о своем таком страшном, но хорошо ему известном пекле и который

вместо этого попадает в еврейский шеол или христианский ад, где его буду встречать я! Вместо Иблиса он увидит Люцифера. Представьте себе христианское небо над адом, в котором мучается еврей!

Советую вам воспринять это как важнейшее, серьезнейшее предупреждение, господин! Как глубочайшую мудрость. Здесь, на белом свете, – никаких дел, ничего общего, в чем могут пересечься три мира: ислам, христианство и иудаизм! Чтобы не пришлось потом иметь дело с преисподними трех этих миров. Потому что с теми, кто друг друга ненавидит, на этом свете нет никаких затруднений. Они всегда похожи. Враги одинаковы или же со временем становятся одинаковыми, в противном случае они не могли бы быть врагами. Самую большую опасность представляют те, кто действительно отличается друг от друга. Они стремятся узнать друг друга, потому что им различия не мешают.

Вот эти-то хуже всего. С теми, кто спокойно относится к тому, что мы отличаемся от них, с теми, кому эти различия не мешают спать, мы будем сводить счеты и сами и, объединив силы с собственными врагами, навалимся на них с трех сторон разом...

На это кир Аврам Бранкович сказал, что ему все-таки не все ясно, и спросил:

– Почему же вы до сих пор так не сделали, если не ты, у которого хвост пока не отвалился, то другие, более старые и опытные? Чего вы ждете, пока мы строим дом на фундамен-

те «Отче наш»?

— Мы выжидаем, господин. Кроме того, мы, дьяволы, можем сделать свой шаг только после того, как его сделаете вы, люди. Каждый наш шаг должен ступать в ваш след. Мы всегда на шаг отстаем от вас, мы ужинаем только после вашего ужина — и так же, как и вы, не видим будущего. Итак, сначала вы, потом мы. Но я скажу тебе и то, что ты, господин, пока еще не сделал ни одного шага, который бы заставил нас преследовать тебя. Если ты это когда-нибудь сделаешь, ты или кто-нибудь из твоих потомков, мы вас настигнем в один из дней недели, имя которого не упоминается. Но пока все в порядке. Потому что вы — ты и твой красноглазый курос — никак не сможете встретиться, даже если он и появится здесь, в Царьграде. Если он видит во сне вас так же, как вы видите его, если он во сне создает вашу явь так же, как и его явь создана вашим сном, то вы никогда не сможете посмотреть друг другу в глаза, потому что вы не можете одновременно бдеть. Но все же не искушайте нас. Поверьте мне, господин, гораздо опаснее составлять словарь о хазарах из рассыпанных слов здесь, в этой тихой башне, чем идти воевать на Дунай, где уже бьются австрийцы и турки. Гораздо опаснее поджидать чудовище из сна здесь, в Царьграде, чем, выхватив саблю, мчаться на врага, а это дело, господин, по крайней мере вам, хорошо знакомо. Подумайте об этом и отправляйтесь туда, куда вы собрались без сомнений, и не слушайте этого анатолийца, который апельсин макает в соль...

– Что же касается остального, господин, – закончил Севаст, – вы, конечно, можете передать меня христианским духовным властям и подвергнуть судебному процессу, предусмотренному для нечестивых и ведьм. Но прежде, чем вы это сделаете, позвольте мне задать вам один-единственный вопрос. Уверены ли вы в том, что ваша Церковь будет существовать и сможет судить и через триста лет так же, как она делает это сейчас?

– Конечно уверен, – ответил папас Аврам.

– Ну так и докажите это: ровно через двести девяносто три года встретимся снова, в это же время года, за завтраком, здесь, в Царьграде, и тогда судите меня так, как бы вы сделали это сегодня...

Папас Аврам улыбнулся, сказал, что согласен, и убил еще одну муху кончиком хлыста.

* * *

Кутью мы сварили на утренней заре, обложили горшок подушками и поставили в дорожную сумку, чтобы папасу Авраму не было холодно спать. Мы отправились в путь – на корабле через Черное море до устья Дуная, а оттуда вверх по течению. Последние ласточки пролетали над Дунаем, перевернувшись вниз черными спинами, которые отражались в воде вместо их белых грудок. Начались туманы, и птицы летели на юг, неся за собой через леса и через Железные ворота

такую плотную оглушающую тишину, которая, казалось, во-
брала в себя тишину всего мира. На пятый день возле Кладо-
ва нас встретил конный отряд из Трансильвании, пропитан-
ный горькой румынской пылью с другого берега. Как толь-
ко мы оказались в лагере принца Баденского, нам стало из-
вестно, что граф Георгий выдвинулся на позиции, генералы
Хайдерсхайм, Ветерани и Хайзел уже готовы к атаке на рас-
положение турок и цирюльники уже два дня бреют и приче-
сывают их на ходу, бегая за ними. Той же ночью мы убеди-
лись и в невероятных способностях нашего господина.

Одно время года готовилось сменить другое, утром было
холодно, а по ночам еще тепло – до полуночи лето, с утра
осень. Папас Аврам выбрал саблю, ему оседлали коня, из
сербского лагеря прибыл небольшой конный отряд, у каждо-
го всадника в рукаве было спрятано по живому голубю. Они
курили на ходу длинные трубки, нанизывая кольца дыма на
уши лошадям. Когда Бранкович сел на коня, ему тоже дали
раскуренную трубку, и все они, так же дымя, отправились
к генералу Ветерани за приказом. В это время над австрий-
ским лагерем раздались крики:

– Сербы голые идут! – И действительно, за всадниками
следовал отряд пехотинцев, которые сбросили с себя все,
кроме головных уборов. Обнаженные, они проходили при
свете лагерных костров, а за ними, чуть быстрее, их голые
тени, которые были старше их вдвое.

– Вы что, собираетесь атаковать в темноте? – спросил

Ветерани, глядя пса, такого высокого, что он мог хвостом хлестнуть по лицу человека.

– Вот именно, – ответил ему кир Аврам, – птицы покажут нам дорогу.

Над австрийскими и сербскими позициями возвышался холм Рс, известный тем, что над ним никогда не шел дождь. На этом холме находились укрепления турецкой артиллерии. К ней уже три дня не могли подобраться ни с одной стороны. Генерал сказал Бранковичу, что ему предстоит эти укрепления атаковать.

– Если вам удастся занять эту позицию, разожгите зеленый костер из кленовых прутьев, – добавил генерал, – чтобы мы могли сориентироваться.

Всадники выслушали приказ и ускакали, по-прежнему куря трубки. Вскоре после этого мы увидели над турецкими позициями горящих голубей – одного, второго, третьего, прозвучало несколько выстрелов, и одновременно в лагерь вернулись папас Бранкович и всадники с дымящимися длинными трубками. Генерал удивленно спросил их, почему они не атаковали турок, на что папас Аврам молча показал трубкой на холм. Там полыхал зеленый огонь, а пушек больше не было слышно. Укрепление было взято.

Когда наступило утро, папас Аврам, уставший от ночного боя, заснул перед своим шатром, а Масуди и Никон Севаст сели играть в кости. Никон уже третий день подряд проигрывал огромные суммы, а Масуди не прекращал игры. Долж-

но быть, у них – спящего Бранковича и двух игроков – были какие-то очень серьезные причины оставаться мишенью под градом ядер и пуль. У меня таких причин не было, и я вовремя укрылся в безопасном месте. Как раз тут на наши позиции ворвался турецкий отряд, уничтожая все живое, а вслед за ним Сабляк-паша^С из Требинья, который смотрел не на живых, а на мертвых. За ним на место побоища влетел бледный юноша, у которого один ус был седым, словно он постарел лишь наполовину. На шелковом нагруднике папаса Аврама был вышит герб Бранковича с одноглазым орлом. Один из турок вонзил копье в эту вышитую птицу с такой силой, что было слышно, как металл, пробив грудную клетку спящего, ударил в камень под Бранковичем. Пробуждаясь в смерть, Бранкович приподнялся на одной руке, последнее, что он увидел в жизни, был красноглазый юноша со стеклянными ногтями и одним серебристым усом. Тут Бранковича прошиб пот, и две струи его завязались у него на шее узлом. Рука его задрожала так, что он, уже пронзенный копьем, посмотрел на нее с удивлением и всей своей тяжестью налег на руку, чтобы унять дрожь. Она все же еще некоторое время трепетала, успокаиваясь, как задетая струна, а когда затихла совсем, он без звука упал на эту руку. В тот же момент юноша рухнул прямо на собственную тень, будто скошенный взглядом Бранковича, а мешок, который был у него на плече, покатился в сторону.

– Неужели Коэн погиб? – воскликнул паша, а турки, ре-

шив, что в юношу выстрелил один из игроков, в мгновение ока изрубили Никона Севаста, все еще сжимавшего в руке кости, которые он собирался бросить. Потом они обернулись к Масуди, но он сказал что-то паше по-арабски, обращая его внимание на то, что юноша не мертв, а спит. Это на сутки продлило жизнь Масуди, потому что паша приказал зарубить его не в тот же день, а на следующий. Так оно потом и было.

«Я мастер сабельного боя, – так заканчивается запись Аверкия Скилы об Авраме Бранковиче, – я знаю, что когда убиваешь, всякий раз это бывает по-другому, так же как всякий раз по-другому бывает в постели с каждой новой женщиной. Просто потом одних забываешь, а других нет. Опять же и некоторые из убитых и женщин не забывают тебя. Смерть кира Аврама Бранковича была из тех, которые остаются в памяти. Было это так. Откуда-то прибежали слуги паши с корытом горячей воды, обмыли кира Аврама и передали его старику, который третью свою туфлю с бальзамами, травами и куделью носил подвешенной на груди. Я подумал, что он будет исцелять раны папаса Аврама, но он намазал его белилами и румянами, побрил, причесал и такого отнесли его в шатер Сабляк-паши.

«Вот еще один голый серб», – подумал я...

На другое утро в этом шатре он и умер. Это было в 1689 году, по мусульманскому летоисчислению, в День священно-

мученика Евтихия. В тот момент, когда Аврам Бранкович испустил дух, Сабляк-паша вышел из шатра и потребовал немного вина, чтобы вымыть руки».

БРАНКОВИЧ ГРГУР – смотри: Столпник.

КАГАН⁷ – хазарский правитель. Столицей Хазарского государства был Итиль, а летняя резиденция кагана находилась на Каспийском море и называлась Семендер. Считается, что прием греческих миссионеров при хазарском дворе был результатом политического решения. Еще в 740 году один из хазарских каганов просил Царьград прислать ему миссионера, сведущего в христианской вере. В IX веке возникла необходимость укрепить греко-хазарский союз перед лицом общей опасности: в это время русские уже водрузили свой щит над царьградскими воротами и отвоевали у хазар Киев. Существовала и еще одна опасность. У правившего в то время кагана не было престолонаследника. Однажды к нему явились греческие купцы, он принял их и пригласил к столу. Все они были низкорослые, чернявые и заросшие волосами настолько, что даже на груди у них виднелся пробор. Каган, сидевший с ними за обедом, казался великаном. Приближалась непогода, и птицы ударялись в окно, как мухи о зеркало. Проводив и одарив путешественников, каган вернулся туда, где они обедали, и случайно бросил взгляд на оставшиеся на столе объедки. Объедки греков были огром-

ными, как у великанов, а объедки кагана крошечными, как у ребенка. Он тут же призвал к себе придворных, чтобы они повторили ему, что говорили иностранцы, но никто ничего не помнил. В основном греки молчали, таково было общее мнение. Тут к кагану обратился еврей из придворной свиты и сказал, что сможет помочь ему.

– Посмотрим, каким образом, – ответил каган и лизнул немного святой соли. Еврей привел к нему раба и приказал тому обнажить руку. Рука была точной копией правой руки кагана.

– Оставь его, – сказал каган. – Оставь и действуй дальше. Ты на правильном пути.

И вот по всему хазарскому царству были разосланы гонцы, и через три месяца еврей привел к кагану юношу, ступни которого были совершенно такими же, как ступни кагана. Потом нашли два колена, одно ухо и плечо – все точно как у кагана. Мало-помалу при дворе собралось много юношей, среди них были и солдаты, и рабы, и веревочники, евреи, греки, хазары, арабы, которые – если от каждого взять определенную часть тела или член – могли бы составить молодого кагана, как две капли воды похожего на того, который правил в Итиле. Не хватало только головы. Ее найти не могли никак. И вот наступил день, когда каган вызвал к себе еврея и потребовал голову – его или кагана. Еврей несколько не испугался, и каган, удивленный, спросил почему.

– Причина в том, что я испугался еще год назад, а не се-

годня. Год назад я нашел и голову. Уже несколько месяцев я храню ее здесь, при дворе, но не решаюсь показать.

Каган приказал показать голову, и еврей привел к нему девушку. Она была молода и красива, а ее голова была настолько похожа на голову кагана, что могла бы служить отражением. Если бы кто-то увидел ее в зеркале, то решил бы, что видит кагана, только более молодого. Тогда каган приказал привести всех собранных и велел еврею сделать из них еще одного кагана. Пока расплзались оставшиеся в живых калеки, части тел которых были использованы для создания второго кагана, еврей написал на лбу нового существа какие-то слова, и молодой наследник поднялся с постели кагана. Теперь его нужно было испытать, и еврей послал его в покои возлюбленной кагана, принцессы Атех. Наутро принцесса велела передать настоящему кагану следующие слова:

– Тот, кто был прислан вчера вечером ко мне на ложе, обрезан, а ты нет. Значит, или он не каган, а кто-то другой, или каган перешел к евреям, совершил обрезание и стал кем-то другим. Итак, реши, что же случилось.

Каган тогда спросил еврея, что может значить это различие. Тот отвечал:

– Да ведь различия не будет, как только ты сам совершишь обрезание.

Каган не знал, на что решиться, и снова спросил совета у принцессы Атех. Она отвела его в подвалы своего дворца и показала двойника. По ее приказу он был закован в цепи и

брошен за решетку. Но цепи он сумел разорвать и сотрясал решетку с невероятной силой. За одну ночь он вырос так, что настоящий, необрезанный каган казался рядом с ним ребенком.

– Хочешь, я выпущу его? – спросила принцесса. Каган испугался настолько, что приказал убить обрезанного кагана. Принцесса Атех плюнула великану в лоб, и он упал мертвым.

Тогда каган обратился душой к грекам, заключил с ними новый союз и назвал их веру своей.

КИРИЛЛ (Константин Солунский, или Константин Философ, 826 или 827–869) – православный святой, греческий участник хазарской полемики^V, один из основателей славянской письменности. Седьмой ребенок в семье командира друнга Леона, который по поручению византийского двора выполнял в Солуне военные и административные функции, Константин сменил ряд чиновничьих и дипломатических должностей. Вырос он среди голых церквей, без икон, в те времена, когда в Царьграде у власти были иконоборцы. К ним относились и многие выходцы из Солуна, и Константин обучался разным наукам у людей, которые были известными противниками икон. Лев Математик, преподававший ему Гомера, геометрию, арифметику, астрономию и музыку, был иконоборцем и родственником царьградского патриарха-иконоборца Иована Грамматика (837–843), кроме того, он поддерживал связи с сарацинами и их калифом Мамуном.

Вторым наставником Константина был известный философ, а позже патриарх, Фотий, который преподавал ему грамматику, риторику, диалектику и философию и которого прозвали христианским Аристотелем. Вместе со Львом Математиком он начал гуманистическое возрождение византийского мира, благодаря которому тот смог осознать, что является отростком античного, эллинистического корня. Фотий занимался таинственными, запрещенными науками – астрологией и магией, византийский император говорил, что у него «хазарское лицо», а при дворе кружила легенда о том, что Фотий еще в молодости продал душу какому-то еврейскому чародею. Константин любил языки, считая, что они вечны, как ветер, и менял их так же, как хазарский каган менял жен разной веры. Кроме греческого, он изучал славянский, еврейский, хазарский, арабский, самаритянский и языки, имевшие готскую или «русскую» письменность. Константин вырос и всю жизнь провел в ненасытной жажде странствий. Он всегда носил с собой накидку и говорил: «Где моя накидка, там и мой дом», а век его прошел главным образом среди диких племен, где после того, как пожмешь кому-нибудь руку, следует на своей пересчитать пальцы. Только болезни время от времени были островками покоя в его жизни. Стоило ему заболеть, и он забывал все языки, кроме родного. Правда, его болезни всегда имели по крайней мере две причины. Когда в 843 году была свергнута власть солунской партии иконоборцев и после смерти императора Тео-

фила объявлено о восстановлении культа икон, Константин был вынужден скрыться в монастыре в Малой Азии. Он думал так: «И Бог отошел, чтобы дать место толпе. Наш глаз – это мишень для окружающих вещей. Они прицеливаются в него, а не наоборот». Потом ему пришлось вернуться в столицу и публично выступить против своих прежних учителей и земляков, в защиту икон. «Иллюзия, что мысли заключены в нашей голове, – решил он тогда. – И головы, и мы целиком переполнены мыслями. Мы и наши мысли – это море и течения в нем; наше тело – течение в море, а мысли само море. Так тело, прорываясь сквозь мысли, завоевывает себе место в мире. Душа же – русло и одного и другого...»

Тогда он расстался с еще одним своим бывшим учителем. Своим старшим братом Мефодием, который никогда не выступал против единомышленников. Он видел, как оставляет позади своего некогдашнего духовного отца и брата и как становится ему старейшиной.

На службе у царьградского двора он был сначала архонтом одной славянской провинции, потом преподавал в столичной придворной школе; став священником, был назначен библиотекарем патриархии при церкви Святой Софии в Царьграде, затем был преподавателем философии в Царьградском университете и здесь получил почетное звание «философа», которое носил до самой смерти. Но сам он держался другого пути и, как все моряки, был уверен, что в качестве еды умные рыбы вредны для желудка и жестче, чем глупые.

Так что только глупцы едят и глупых и мудрых, а мудрецы выбирают и ищут глупых.

Он, проведший первую половину своей жизни избегая икон, вторую половину нес их перед собой как щит. Однако выяснилось, что если к иконе Богородицы он смог привыкнуть, то к самой Богородице – нет. Когда много лет спустя он в хазарской полемике[∇] сравнил ее с прислугой из свиты кагана, он сравнил ее с мужчиной, а не с женщиной.



*Портрет Константина Солунского – святого Кирилла
(фреска IX в.)*

Тогда его век перевалил за середину и закончилась первая половина его жизни.

Он взял три золотые монеты, положил их в свой кошелёк и подумал: первую дам музыканту, дующему в рог, вторую – певчим в церкви, а третью – поющим небесным ангелам. И с такой мыслью пустился в свое бесконечное странствие. Ему никогда не случалось смешать крошки от обеда и ужина. Он постоянно был в пути. В 851 году он отправился к арабскому калифу в Самару, недалеко от Багдада, и, вернувшись из этой дипломатической миссии, увидел в зеркале первую морщину на собственном лбу, которую назвал сарацинской. Заканчивался 859 год, и Константин теперь стал сверстником Александра Великого, умершего в тридцать три года. Как раз столько было сейчас Константину.

«У меня гораздо больше одногодков под землей, чем на земле, – подумал он тогда, – одногодков из всех веков: из времени Рамзеса Третьего, критского лабиринта или первой осады Царьграда. И я стану подземным сверстником многих из живых. Вот только, старея здесь, на земле, я все время меняю ровесников под землей, предавая мертвых, которые моложе меня...»

А потом пришло время еще одной осады города, имя которого он носил. Пока славяне в 860 году осаждали Царьград, Константин на Олимпе Малой Азии, в тишине монашеской кельи, делал для них ловушку – вычерчивал первые

письмена славянской азбуки. Сначала он придумал округлые буквы, но язык славян был столь дик, что чернила не удерживали его. Тогда он попробовал составить азбуку из решетчатых букв и заточить в них этот непокорный язык, как птицу. Позже, после того как он был приручен и обучен греческим языком (потому что и языки учат другие языки), славянский можно было ухватить и с помощью тех первоначальных, глаголических знаков...

Даубманнус приводит такой рассказ о возникновении славянской азбуки. Язык варваров никак не хотел поддаваться укрощению. Как-то быстрой трехнедельной осенью братья сидели в келье и тщетно пытались написать письмо, которые позже получат название кириллицы. Работа не клеилась. Из кельи была прекрасно видна середина октября, и в ней тишина длиной в час ходьбы и шириной в два. Тут Мефодий обратил внимание брата на четыре глиняных кувшина, которые стояли на окне их кельи, но не внутри, а снаружи, по ту сторону решетки.

– Если бы дверь была на засове, как бы ты добрался до этих кувшинов? – спросил он. Константин разбил один кувшин, черепок за черепком перенес сквозь решетку в келью и собрал по кусочкам, склеив его собственной слюной и глиной с пола под своими ногами.

То же самое они сделали и со славянским языком – разбили его на куски, перенесли их через решетку кириллицы в свои уста и склеили осколки собственной слюной и грече-

ской глиной под своими ногами...

В тот же год к византийскому императору Михаилу III прибыло посольство от хазарского кагана[∇], который просил направить к нему из Царьграда человека, способного объяснить основы христианского учения. Император обратился за советом к Фотию, которого звал «хазарским лицом». Этот шаг был двусмысленным, однако Фотий к просьбе отнесся серьезно и порекомендовал своего подопечного и ученика Константина Философа, который, как и его брат Мефодий, отправился со второй дипломатической миссией, названной хазарской. По пути они остановились в Херсонесе, в Крыму, где Константин изучил хазарский и еврейский языки, готовясь выполнить ту дипломатическую задачу, которая перед ним стояла. Он думал: «Каждый – это крест своей жертвы, а гвозди пробивают и крест». Прибыв ко двору хазарского кагана, он встретил там миссионеров исламской и еврейской веры, которых тоже призвал каган. Константин вступил с ними в полемику, излагая свои «Хазарские проповеди», которые Мефодий позже перевел на славянский язык. Опровергнув все аргументы раввина и дервиша, которые представляли иудаизм и ислам, Константин Философ убедил хазарского кагана принять христианство, научил его тому, что не следует поклоняться изломанному кресту, и заметил на своем лице вторую, хазарскую, морщину.

Шел к концу 863 год. Константин был теперь сверстником Филона Александрийского, философа, умершего в тридцать

семь лет, сколько было сейчас и ему самому. Он закончил славянскую азбуку и вместе с братом отправился в Моравию, к славянам, которых знал еще по своему родному городу.

Он переводил церковные книги с греческого на славянский, а вокруг него собиралась толпа. Глаза они носили на том месте, где когда-то росли рога, и это еще было заметно, подпоясывались змеями, спали головой на юг, выпавшие зубы забрасывали на другую сторону дома, через крышу. Константин видел, как они, шепча молитвы, ели то, что выковыривали из носа. Ноги они мыли не разуваясь, плевали в свою тарелку перед обедом, а в «Отче наш» вставляли через каждое слово свои варварские мужские и женские имена, так что молитва разрасталась, как тесто на дрожжах, при этом одновременно исчезая, так что каждые три дня ее нужно было пропалывать, потому что иначе она была не видна и не слышна из-за тех диких слов, которые ее проглатывали. Их с непреодолимой силой притягивал запах падали, мысли их были быстры, и пели они прекрасно, так что он плакал, слушая их и глядя на свою третью, славянскую морщину, которая наискось сползала по его лбу наподобие капли дождя... После Моравии он в 867 году прибыл к паннонскому князю Коцелю, а от него направился в Венецию, где принял участие в спорах с триязычниками, утверждавшими, что лишь греческий, еврейский и латинский языки достойны того, чтобы совершать на них богослужение. Венецианцы спросили его: Христа убил весь Иуда или не совсем весь? А Константин

чувствовал, как на его щеке появляется четвертая, венецианская морщина и как она вместе со старыми, сарацинской, хазарской и славянской, пересекает лицо и перекрещивается с ними наподобие четырех сетей, наброшенных на одну рыбу. Он дал один золотой из своего кошелька трубачу и попросил его протрубить, а сам спросил триязычников, отзовется ли войско на сигнал, если не понимает знака трубы? Шел 869 год, и Константин думал о Боэции из Равенны, который умер на сорок третьем году жизни. Сейчас он был его сверстником. По приглашению Папы Константин прибыл в Рим, где ему удалось отстоять правильность своих взглядов и службы на славянском языке. С ним были Мефодий и ученики, крещенные в Риме.

Вспоминая свою жизнь и слушая пение в церкви, он думал: «Так же как человек, одаренный призванием к какому-то делу, во время болезни делает это дело с трудом и неловко, так и без всякой болезни, но с таким же трудом и неловкостью делает его тот, кто не имеет к нему призвания...»

В это время в Риме пели славянскую литургию, и Константин дал второй золотой певчим. Свой третий золотой он положил, по древнему обычаю, себе под язык, поступил в Риме в один из греческих монастырей и, приняв новое монашеское имя Кирилл, умер там в 869 году.

Важнейшая литература. Очень большая библиография

работ о Кирилле и Мефодий собрана в работе Г. А Ильинского («Опыт систематической кирилло-мефодиевской библиографии»), а также в многочисленных дополнениях более позднего времени (Попруженко, Романски, Иванка Петрович и др.). Обзор новейших исследований дан в новом издании монографии Ф. Дворника «*Les Legendes de Constantin et Methode vue de Byzance*» (1969). Некоторые данные в связи с хазарами и хазарской полемикой приводились в изданном Даубманнусом «Хазарском словаре», *Lexicon Cosri, Regiemonti Borrusiae, excudebat Ioannes Daubmannus 1691*, но это издание было уничтожено.

ЛОВЦЫ СНОВ – секта хазарских священнослужителей, покровителем которых была принцесса Атех^V. Они умели читать чужие сны, жить в них как в собственном доме и, проносясь сквозь них, отлавливать в них ту добычу, которая им заказана, – человека, вещь или животное. Сохранились записки одного из самых старых ловцов снов, в которых говорится: «Во сне мы чувствуем себя как рыба в воде. Время от времени мы выныриваем из сна, окидываем взглядом собравшихся на берегу и опять погружаемся, торопливо и жадно, потому что нам хорошо только на глубине. Во время этих коротких появлений на поверхности мы замечаем на суше странное создание, более вялое, чем мы, привыкшее к другому, чем у нас, способу дыхания и связанное с сушей всей своей тяжестью, но при этом лишенное сласти, в кото-

рой мы живем как в собственном теле. Потому что здесь, внизу, сласть и тело неразлучны, они суть одно целое. Это создание там, наверху, тоже мы, но это мы спустя миллион лет, и между нами и ним лежат не только годы, но и страшная катастрофа, которая обрушилась на того, наверху, после того как он отделил тело от сласти...»

Одного из самых известных толкователей снов, как говорит предание, звали Мокадаса аль-СаферС. Он сумел глубже всех приблизиться к проникновению в тайну, умел укрощать рыб в чужих снах, открывать в них двери, заныривать в сны глубже всех других, до самого Бога, потому что на дне каждого сна лежит Бог. А потом с ним случилось что-то такое, что он больше никогда не смог читать сны. Долго думал он, что достиг совершенства и что дальше в этом мистическом искусстве продвинуться нельзя. Тому кто приходит к концу пути, путь больше не нужен, поэтому он ему и не дается. Но те, кто его окружал, думали иначе. Они однажды рассказали об этом принцессе Атех, и она объяснила им, что случилось с Мокадасой аль-Сафером:

– Один раз в месяц, в праздник соли, в пригородах всех наших столиц приверженцы хазарского кагана бьются не на жизнь, а на смерть с вами, кто меня поддерживает и кого я опекаю. Как только падает мрак, в тот час, когда погибших за кагана хоронят на еврейских, арабских или греческих кладбищах, а отдавших жизнь за меня погребают в хазарских захоронениях, каган тихо открывает медную дверь

моей спальни, в руке он держит свечу, пламя которой благоухает и дрожит от его страсти. Я не смотрю на него в этот миг, потому что он похож на всех остальных любовников в мире, которых счастье будто ударило по лицу. Мы проводим ночь вместе, но на заре, перед его уходом, я рассматриваю его лицо, когда он стоит перед отполированной медью моей двери, и читаю в его усталости, каковы его намерения, откуда он идет и кто он таков.

Так же и с вашим ловцом снов. Нет сомнений, что он достиг одной из вершин своего искусства, что он молился в храмах чужих снов и что его бесчисленное число раз убивали в сознании видящих сны. Он все это делал с таким успехом, что ему начала покоряться прекраснейшая из существующих материй – материя сна. Но даже если он не сделал ни одной ошибки, поднимаясь наверх, к Богу, за что ему и было позволено видеть Его на дне читаемого сна, он, конечно же, сделал ошибку на обратном пути, спускаясь в этот мир с той высоты, на которую вознесся. И за эту ошибку он заплатил. Будьте внимательны при возвращении! – закончила принцесса Атех. – Плохой спуск может свести на нет счастливое восхождение.

МЕФОДИЙ СОЛУНСКИЙ (около 815–885) – греческий хронист хазарской полемики^V, один из славянских апостолов и святителей восточного христианства, старший брат Константина Солунского – Кирилла[†]. Происходит из семьи

солунского военачальника, друнгара Льва. Мефодий испробовал свои способности сначала как управляющий одной славянской провинции, в районе реки Струмицы (Стримона). Он знал язык своих славянских подданных с бородами и душами, которые зимой для тепла носили под рубашками птиц. Вскоре, а точнее в 840 году, он уехал в Витинию на Мраморном море, однако всю жизнь катил перед собой, как мяч, память о славянских подданных. Книги, которые приводит Даубманнус[☆], свидетельствуют, что там он учился у одного монаха, и тот ему однажды сказал: «Когда мы читаем, нам не дано воспринять все, что написано. Наша мысль ревнива по отношению к чужой мысли, она постоянно затуманивает ее, и внутри нас нет места для двух запахов сразу. Те, кто живет под знаком Святой Троицы, мужским знаком, воспринимают при чтении нечетные, а мы, находящиеся под знаком числа четыре, женского числа, только четные предложения из наших книг. Ты и твой брат в одной и той же книге не сможете прочесть одни и те же предложения, так как наши книги существуют лишь в соединении мужского и женского знака...» Правда, Мефодий учился и еще у одного человека – у своего младшего брата Константина. Иногда он замечал, что его младший брат мудрее автора книги, которую он читал в этот момент... Тогда Мефодий понимал, что попусту теряет время, захлопывал книгу и заводил разговор с братом. В обители постников, которая называлась Олимп и располагалась в Малой Азии, Мефодий принял монашество,

позже здесь к нему присоединился и его брат. Они наблюдали, как каждую Пасху в пустыне праздничный ветер развеивал песок и обнажал всякий раз на новом месте древний храм, но так ненадолго, что едва они успевали перекреститься и прочитать «Отче наш», как его опять засыпало песком, уже навсегда. Тогда он начал видеть одновременно два сна, и с тех пор возникла легенда, что у него будет две могилы. В 861 году он вместе с братом направился к хазарам. Для братьев из Солуна это был новый опыт. От своего учителя и друга Фотия, который поддерживал связи с хазарами, они слышали об этом сильном народе и знали, что те на собственном языке исповедуют собственную веру. По распоряжению из столицы Мефодий должен был как свидетель и помощник Константина участвовать в полемике при хазарском дворе. «Хазарский словарь» 1691 года пишет, что при этом хазарский каган[∇] объяснил своим гостям, что представляет собой секта ловцов снов. Каган их презирал, эта секта принадлежала к партии сторонников принцессы Атех[∇]. Бесплодную работу ловцов снов он сравнил с греческой притчей о тощем мышонке, который без труда пролез сквозь маленькую дырку в корзину с зерном, но, наевшись, не смог вылезти обратно из-за раздувшегося живота: «Сытым не выберешься из корзины. Выберешься только голодным, таким же, каким туда залез. Так же и тот, кто читает сны, – голодным он с легкостью пройдет через тесный промежуток между сном и явью, но его добыча и плоды, собранные там, сны, которыми

он насытился, помешают ему вернуться назад, потому что это можно сделать только таким, каким туда вошел. Поэтому ему приходится или бросить свою добычу, или остаться там с ней навсегда. Ни в том ни в другом случае от этого нет никакой пользы...»

После хазарского путешествия Мефодий снова вернулся на Олимп в Малую Азию, и когда опять увидел там те же иконы, что видел раньше, они показались ему усталыми. Он стал игуменом монастыря Полихрона, о котором потом на протяжении веков не было известно ничего, кроме того, что построен он на стыке трех времен – арабского, греческого и еврейского, чему и обязан своим именем.

В 863 году Мефодий вернулся к славянам. Нужно было создать славянскую школу, которая была бы под греческим влиянием, с учениками, славянской письменностью и книгами, переведенными с греческого на славянский. И он и его брат Константин с детства знали, что птицы в Солуне и птицы в Африке говорят на разных языках, что ласточка с Струмицы не поймет, что говорит ласточка с Нила, и что только альбатросы повсюду в мире говорят на одном языке. С такими мыслями отправились они в Моравию, Словакию и Нижнюю Австрию, собирая вокруг себя молодых людей, которые больше смотрели им в рот, чем слушали, что они говорят. Одному из учеников Мефодий решил подарить красиво украшенный посох. Все считали, что он даст его лучшему, и гадали, кому же именно. Мефодий дал его самому

худшему. И сказал: «Лучшие учатся меньше всего. Гораздо дольше учитель остается с плохими учениками. Умные проходят быстро...»



Методий Солунский (фреска IX в.)

Однажды в комнате с разохшимся полом, который кусал босые ноги, он впервые услышал о нападках на них. Начались столкновения с триязычниками, немцами, выступавшими за то, что обрядовыми могут быть только три языка (греческий, латинский и еврейский). В Паннонии, на Балатоне – озере, где зимой смерзаются волосы, а глаза от ветра становятся похожи на столовую и чайную ложку, – Мефодий остановился вместе с братом в столице тамошнего славянского князя Коцеля. Его воины в бою кусались так же страшно, как кони и верблюды, змей они ударами прута заставляли покинуть кожу, а их женщины рожали в воздухе, подвешенные к святому дереву. Они укрощали рыб в грязи паннонских болот и показывали пришельцам старика, молитва которого состояла в том, что он вынимал из грязи рыбу, клал ее себе на ладонь и заставлял взлететь, как это делает охотничий сокол. И она действительно поднималась в воздух и летела, стряхивая с себя грязь и пользуясь жабрами как крыльями.

Вместе с последователями и учениками в 867 году братья отправились в одно из таких путешествий, где каждый шаг – это буква, каждая тропа – фраза, а каждая остановка – число одной великой книги. В Венеции, в 867 году, они участвовали в новом споре с триязычниками, а после этого пришли в Рим, где Папа Адриан III признал учение солунских братьев правильным и рукоположил славянских учеников в церкви Святого Петра. При этом литургия совершалась на

славянском языке, который только что был укрощен и, как зверек, сидящий в клетке из глаголических букв, доставлен с балканских просторов в столицу мира. Здесь, в Риме, как-то вечером 869 года, пока его последователи-славяне плевали друг другу в рот, умер брат Мефодия Константин, в те времена уже святой Кирилл. Мефодий после этого вернулся в Паннонию. Второй раз он был в Риме в 870 году, когда получил от Папы звание архиепископа Паннонско-сремского, после чего архиепископ Зальцбургский должен был покинуть берега Балатона. Когда летом 870 года Мефодий вернулся в Моравию, немецкие епископы отправили его в заточение, где он провел два года, слушая один лишь шум Дуная. Он был предан суду собора в Регенсбурге, там же его подвергали пыткам и нагого выставляли на мороз. Все время, пока его хлестали плеткой, он, согнувшись так, что борода доставала до земли, думал о том, что Гомер и святой пророк Илия были современниками, что поэтическое государство Гомера было большим, чем империя Александра Македонского, потому что протянулось от Понта за границу Гибралтара. Думал он и о том, что Гомер не мог знать обо всем, что движется и существует в морях и городах его государства, так же как и Александр Македонский не мог знать обо всем, что можно встретить в его империи. Затем он думал, как Гомер однажды вписал в свое произведение и город Сидон, а вместе с ним, сам того не зная, и пророка Илию, которого по Божией воле кормили птицы. Он думал о том, что Гомер имел в

своём огромном поэтическом государстве моря и города, не зная о том, что в одном из них, в Сидоне, сидит пророк Илия, который станет жителем другого поэтического государства, такого же просторного, вечного и мощного, как у Гомера, — Святого Писания. И задавал себе вопрос, встретились ли два современника — Гомер и святой Илия из Фесва — в Галааде, оба бессмертные, оба вооруженные только словом, один — обращенный в прошлое и слепой, другой — устремленный в будущее и провидец; один — грек, который лучше всех поэтов воспел воду и огонь, другой — еврей, который водой вознаграждал, а огнем наказывал, пользуясь своим плащом как мостом. Есть один пояс на земле, думал под конец Мефодий, не более широкий, чем десять верблюжьих смертей, на котором разошлись два человека. Это пространство, пространство между их шагами, уже любого, самого тесного прохода на земле. Никогда две такие крупные фигуры не были ближе друг к другу. Или мы ошибаемся, как и все, чье зрение служит воспоминаниям, а не земле под нами...

Благодаря вмешательству Папы Мефодий был освобожден в 880 году, в третий раз доказал в Риме правоверность всего, что он отстаивал, в частности славянской службы, а Папа своим посланием еще раз подтвердил законность славянского богослужения. Даубманнус, кроме уже упоминавшегося рассказа о наказании Мефодия плетьюми, сообщает и то, что он три раза искупался в римской реке Тибр, как принято делать при рождении, венчании и смерти, и что там он

причащался тремя волшебными хлебами. В 882 году Мефодия с высшими почестями принимали в Царьграде, сначала при дворе, а потом и в патриархии, которую возглавлял другой его молодости, а теперь патриарх и философ Фотий. Мефодий умер в Моравии в 885 году, оставив после себя славянские переводы Священного Писания, «Номоканона» (сборника законов) и проповедей святых отцов.

Как участник хазарской миссии и помощник Константина Философа, Мефодий дважды выступает в качестве хрониста хазарской полемики. Он перевел «Хазарские проповеди» на славянский и, судя по стилю жития Кирилла, осуществил редакцию, разбив их на восемь книг. Так как «Хазарские проповеди» Кирилла не сохранились ни в греческом оригинале, ни в славянском переводе Мефодия, важнейшим христианским источником, свидетельствующим о хазарской полемике, остается славянское житие Константина Философа (Кирилла), написанное под надзором самого Мефодия. В нем приводится и дата полемики (861 год), и подробное изложение выступлений Константина и его противников, правда не названных, – еврейского и исламского миссионеров. Даубманнус приводит следующее высказывание, касающееся Мефодия: «Труднее всего вспахивать чужую ниву и собственную жену, – пишет он, – но так как каждый человек распят на собственной жене как на кресте, получается, что труднее всего нести не чужой крест, а свой. Так было и с Мефодием, который никогда не нес крест своего брата... Потому что

младший брат был ему духовным отцом...»

СЕБАСТ НИКОН (XVII век) – существует предание, что одно время под этим именем на Балканах, на берегу Моравы в Овчарском ущелье, жил Сатана. Он был необыкновенно мирным, всех людей окликал своим собственным именем и зарабатывал на жизнь в монастыре Святого Николая, где был старшим писарем. Где бы он ни сел, после него оставался отпечаток двух лиц, а вместо хвоста у него был нос. Он утверждал, что в прошлой жизни был дьяволом в еврейском аду и служил Велиалу и Геваре, многих похоронил на чердаках синагог, и однажды осенью, когда птичий помет был ядовит и прожигал листья и траву, на которые попадал, Севаст нанял человека, чтобы тот его убил. Таким способом он мог перешагнуть из еврейского в христианский ад и затем в новой жизни служить Сатане.

По другим слухам, он не умирал, а дал однажды собаке лизнуть немного своей крови, вошел в могилу какого-то турка, схватил его за уши, содрал с него кожу и натянул ее на себя. Поэтому из его прекрасных турецких глаз выглядывали козьи глаза. Он боялся кресала, ужинал после всех и крал в год по куску соли. Считается, что по ночам он скачет на монастырских и деревенских лошадях, и, действительно, они встречали рассвет в пене, в грязи, со спутанными гривами. Говорили, он делает это затем, чтобы охладить сердце, потому что сердце его было сварено в кипящем вине. Поэтому в

гривы лошадям вплетали Соломонову букву, от которой он бежал прочь, и так защищали их от него и его сапог, всегда обкусанных собаками...

Одевался он богато, и ему прекрасно удавалась церковная настенная живопись, а этот дар, как говорит предание, дал ему архангел Гавриил. В церквах Овчарского ущелья на его фресках остались записи, которые, если читать их в определенной последовательности от фрески к фреске, от монастыря до монастыря, содержат послание. И его можно складывать до тех пор, пока будут существовать эти фрески. Это послание Никон составил для себя самого, когда через триста лет он опять вернется из смерти в мир живых, потому что демоны, как он говорил, не помнят ничего из предыдущей жизни и должны позаботиться о себе загодя. Первое время, только начав заниматься живописью, он не считался особо одаренным художником. Работал он левой рукой, фрески его были красивыми, но их невозможно было запомнить, они как бы исчезали со стен, стоило только перестать на них смотреть. Как-то утром Севаст в отчаянии сидел перед своими красками. Вдруг он почувствовал, как новая, другая тишина всплыла в его молчание и разбила его. Рядом молчал еще кто-то, но молчал не на его языке. Тогда Никон начал молить архангела Гавриила, чтобы тот удостоил его милости красок. В те времена в монастырях Овчарского ущелья – Святого Иоанна, Благовещения, Святого Николая или Сретенья – было много молодых монахов-иконописцев, которые

расписывали стены и соревновались, как в немой молитве или в пении, кто лучше изобразит своего святого. Поэтому никому и в голову не приходило, что именно молитва Никона Севаста могла быть услышана. Но именно так и случилось.

В августе 1670 года, накануне Дня семи святых эфесских мучеников, когда кончается запрет есть оленину, Никон Севаст сказал:

– Один из верных путей в истинное будущее (ведь есть и ложное будущее) – это идти в том направлении, в котором растет твой страх.

И стал собираться на охоту. С ним был Феоктист Никольски^А, монах, который в монастыре помогал ему переписывать книги. Эта охота вошла в историю благодаря записям Феоктиста. Севаст, как рассказывают, посадил борзую на седло, себе за спину, и они отправились охотиться на оленей. Вскоре борзая спрыгнула со спины коня, но никакого оленя поблизости не было. Собака тем не менее тявкала, как будто действительно гонит добычу, и казалось, что та, невидимая, но тяжелая, движется по направлению к охотникам. Слышалось, как трещат кусты. Севаст вел себя так же, как и борзая. Он держался так, как будто перед ним олень, причем действительно совсем неподалеку слышалось что-то похожее на дыхание оленя, и Феоктист подумал, что архангел Гавриил наконец явился Никону в облике оленя, иными словами – обращенный в душу Никона Севаста. А говоря еще

точнее, архангел принес душу Никону в подарок. Таким образом, Никон в тот день на охоте поймал собственную душу и заговорил с ней.

— Глубока твоя глубина и велика твоя слава, помоги мне восхвалять тебя в красках! — вскричал Севаст, обращаясь к архангелу, или к оленю, или к собственной душе — одним словом, к тому, что это было. — Я хочу нарисовать ночь между субботой и воскресеньем, а на ней твою самую прекрасную икону, чтобы тебе молились и в других местах, даже не видя ее!

Тогда архангел Гавриил сказал:

— Пробидев поташта се озлобити... — И монах понял, что архангел говорит, пропуская существительные. Потому что имена — для Бога, а глаголы — для человека.

На это иконописец ответил:

— Как же мне работать правой, когда я левша?

Но олень уже исчез, и монах тогда спросил Никона:

— Что это было?

А тот совершенно спокойно ответил:

— Ничего особенного, это все временное, а я здесь оказался просто на пути в Царьград... — А потом добавил: — Сдвинешь человека с места, где он лежал, а там черви, букашки, прозрачные, как драгоценности, плесень...

И радость охватила его, как болезнь, он переложил кисть из левой руки в правую и начал писать. Краски потекли из него, как молоко, и он едва успевал класть их. Он узнал все

разом: и как смешивать тушь с мускусом кабарги, и что желтая краска самая быстрая, а черная медленнее всех других красок, и ей нужно больше всего времени, чтобы высохнуть и приобрести свой истинный вид. Лучше всего ему работалось с «белой святого Иована» и «змеиной кровью». Законченные работы он не покрывал лаком, как это было принято, а проходил по ним кисточкой, смоченной в уксусе, чтобы получить цвет светлого воздуха. Он кормил и исцелял красками, расписывая все вокруг: дверные косяки и зеркала, курятники и тыквы, золотые монеты и башмаки. На копытах своего коня он нарисовал четырех евангелистов – Матфея, Марка, Луку и Иоанна, на ногтях своих рук – десять Божьих заповедей, на ведре у колодца – Марию Египетскую, на ставнях – одну и другую Еву (первую – Лилит и вторую – Адамову). Он писал на обглоданных костях, на зубах, своих и чужих, на вывернутых карманах, на шапках, на потолках. На живых черепахах он написал лики двенадцати апостолов, выпустил их в лес, и они расползлись. Тишина стояла в ночах, как в покоях, он выбирал любой, входил, зажигал за доской огонь и писал икону-диптих. На ней он изобразил, как архангелы Гавриил и Михаил передают друг другу из одного дня в другой через ночь душу грешницы, при этом Михаил стоял во вторник, а Гавриил в среде. Ноги их упирались в написанные названия этих дней, и из ступней сочилась кровь, потому что верхушки букв были заостренными. Зимой, в отсвете снежной белизны, работы Никона

Севаста казались лучше, чем летом, на солнце. Была в них тогда какая-то горечь, будто они написаны в полутьме, были какие-то улыбки на лицах, которые в апреле гасли и исчезали до первого снега. И тогда он снова брался за кисти и краски и только время от времени локтем поправлял между ногами свой огромный член, чтобы не мешал работать.

Его новые иконы и фрески запоминались на всю жизнь; монахи со всей округи и живописцы из всех монастырей Овчарского ущелья собирались к Святому Николаю, будто их кто созвал, смотреть на краски Никона. Монастыри начали наперебой зазывать его к себе, одна его икона приносила столько же, сколько виноградник, а фреска на стене стала такой же быстрой, как конь. О том, как работал иконописец Никон, осталась запись в одном восьмигласнике, и эта запись, датируемая 1674 годом, гласит:

«Два года назад, в день преподобного Андрея Стратилата, как раз когда начинают есть куропаток, сидел я, – писал неизвестный монах из монастыря Святого Николая, – в своей келье, читал книгу новоиеру салимских стихов из Киева, а в соседнем помещении ели три монаха и одна собака: два идиоритмика уже поужинали, а рисовальщик Севаст Никон, по своему обыкновению, ел после них. Через тишину стихов, которые я читал, можно было по жеванию разобрать, что Никон ест говяжий язык, который, чтобы он стал мягче, перед тем как сварить, хорошо отбили об сливу, растущую перед дверью. Потом, закончив с едой, Никон вышел ко мне

и сел за работу, а я, глядя, как он готовит краски, спросил его, что он делает.

– Краски смешиваю не я, а твое зрение, – отвечал он, – я их только наношу на стену, одну рядом с другой, в природном виде, тот же, кто смотрит, перемешивает их своими глазами, как кашу. В этом вся тайна. Кто лучше сварит кашу, получит хорошую картину, но хорошую кашу не сделаешь из плохой гречки. Так что самая важная вера у того, кто смотрит, слушает и читает, а не у того, кто рисует, поет или пишет.

Он взял голубую и красную краски и положил их одну рядом с другой, изображая глаза ангела. И я увидел, что они получились цвета фиалки.

– Я работаю с чем-то похожим на словарь красок, – добавил Никон, – а зритель из слов этого словаря сам составляет фразы и книги, то есть картины. Так бы мог делать и ты, когда пишешь. Почему бы тебе не собрать словарь слов, которые составили бы одну книгу, и не дать возможность читателю самому построить из этих слов свое целое?

Потом Никон Севаст повернулся к окну и показал кисточкой на поле, протянувшееся перед монастырем Святого Николая, сказав:

– Ты видишь эту борозду? Ее пропахал не плуг. Это борозда от лая собак...

Потом Никон задумался и сказал сам себе:

– Раз у меня, левши, так получается правой, то что я сде-

лаю левой! – и переложил кисть в левую руку...

Эта весть мгновенно разнеслась по монастырям, и все ужаснулись, уверенные, что Никон Севаст вернулся к Сатане и будет наказан. Во всяком случае, уши его стали опять острыми как нож, даже говорили – этим ухом можно кусок хлеба отрезать! Но мастерство его осталось таким же, левой он писал так же, как и правой, ничего не изменилось, заклятие архангела не сбылось. Как-то утром Никон Севаст ждал игумена из монастыря Благовещения, который должен был прийти договариваться с ним о росписи царских врат. Но ни в тот, ни на следующий день из Благовещения никто не появился. Тогда Севаст как будто вспомнил что-то, прочел пятый «Отче наш», который читают за упокой душ самоубийц, и отправился в этот монастырь сам. Там перед церковью увидел он игумена и окликнул его, по своему обыкновению назвав собственным именем:

– Севаст, Севаст, что случилось?

Старец, не говоря ни слова, повел его в келью и показал на молодого, как голод, живописца, который расписывал створку врат. Никон взглянул на работу и остолбенел. Юноша взмахивал бровями, как крыльями, и писал так же хорошо, как и Никон. Не лучше, но и не хуже. И тогда Никон понял, в чем состояло заклятие. Потом он услышал, что в церкви в Прняворе работает другой юноша, работает так же хорошо, как Никон Севаст. И оказалось, что это так и есть. Вскоре после этого и другие, более старые живописцы и ико-

нописцы – один за другим, будто отчаливая от пристани и выгребая на большую воду, – начали писать все лучше и лучше и приближаться в своем умении к Никону Севасту, который раньше был для них недостижимым образцом. Так озаарились и обновились стены всех монастырей ущелья, и Никон вернулся туда же, откуда он начал движение от левой к правой руке. Тут только он в полной мере понял, как наказан. Не выдержав этого, он сказал:

– Зачем мне быть таким же иконописцем, как остальные? Теперь каждый может писать, как я...

И он бросил свои кисти и никогда больше ничего не расписал. Даже яйца. Выплакал все краски из глаз в монастырскую ступку для красок и со своим помощником Феоктистом ушел из монастыря Святого Николая, оставляя за собой след пятого копыта. На прощание сказал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.